

МАРГО ПА. ГРАНИ

Рассказы в разное время публиковались в журналах "Новый берег" (журнальный зал), "Новая литература", "Пролог", "Сетевая словесность", "Зарубежные задворки".

Тема рассказов - творчество, по жанру близки к "магическому реализму" (с примесью мистики).

ПЕРЕЛИЦОВКА

Книги не умеют стоять прямо на полках: либо поддерживают друг друга, либо клонятся, кто влево, в прошлое, не выдерживая ветра перемен, а кто вправо, в будущее, навстречу потомкам. Библиотека нашей виллы напоминает Александрийскую: во всех комнатах первого этажа книжные шкафы закрывают собой стены от пола до кромки потолка, метров пять в высоту, несколько поколений собирали, мне на всю жизнь хватит и ещё останется, чтобы вернуться призраком и дочитать без спешки. Призраки способны читать сквозь обложки, не открывая книг, и понимать написанное между строк. А пока время и зрение мои ограничены, стараюсь отыскать на полках ту самую, настоящую, которая смотрит в вечность, потому что не чувствую времени. Иногда сегодняшний день представляется послезавтрашним, и я говорю себе: это иллюзия, но потом сегодня вдруг происходит в точности то, что привиделось позавчера, и тогда я не знаю, что ещё сказать. Жизнь, утратившая связь с часами и календарями, кажется безумием.

Сколько моих шагов хранят коридоры виллы? Бесконечные ступени мраморных лестниц, дубовые двери с бронзовыми ручками в номера, где живут картины. Именно живут, и именно картины. Гости у нас редкость, владельцев «золотых карт» Галереи Витторио Эммануэля и в Милане, и в мире можно пересчитать по пальцам. Вилла наполняется человеческими голосами по осени, в сезон конференций, симпозиумов и прочих культурных мероприятий. Летом же всё замирает, слушаешь, как днём от жары потрескивает воздух, а ночью в фонтане поют тритоны. Летом на окна номеров вешают тяжёлые светонепроницаемые шторы, чтобы сберечь картины от выгорания. И я вижу сквозь дверь, как персонажи со старинных портретов расхаживают в полумраке гостиной и о чём-то негромко переговариваются. Но стоит распахнуть её, и встретишься с раскрашенными прямоугольниками в золочёных рамах.

Это дядя превратил наш дом в гостиницу-музей и теперь винит себя, что заточил любимую племянницу в старинном замке, как принцессу из грустной сказки. Последнее воспоминание о родителях: ужин у камина вчетвером (у дяди никогда не было собственной семьи), сангиновые портьеры в столовой, похожие на языки пламени, тянущиеся к потолку, серебро, безупречно белая скатерть. Над столом – портрет женщины в красном на синем фоне, чьё платье тоже напоминало огонь. О чём мы говорили в тот вечер? Помню, было тепло и внешне, и внутренне, мне, единственному ребёнку, прощали любую шалость и никогда не ругали. После их смерти дядя как младший брат унаследовал виллу, а вместе с ней и меня. Считает, мне нужен мир за стенами виллы с его возможностями, мечтами, соблазнами, образование, любимое дело и любимый человек, а преумножением моего наследства он займётся сам. Но от городов у меня начинается агорафобия: улицы подражают коридорам виллы, но стены домов, как бока дельфинов, – скользкие и покатые, не ухватиться, дома щетинятся углами балконов, по улице Данте нарезают круги люди в костюмах манекенов с табличками в руках

«Боишься перемен?» и насильно собирают подписи против наркотиков и СПИДа. Театр абсурда! Жизнь как игра, в которую я никак не могу включиться и наблюдаю со скамейки запасных. Мир призрака. Все есть, а меня нет, хотя иногда выбираюсь в Милан – посидеть в кафе, побыть в толпе, но всё равно как бы отдельно.

К тому же я точно знаю: жизнь – картина, тебя нарисовали на ней задолго до рождения, и никто из нас не в силах ни изменить окружающий пейзаж, ни покинуть её пределы. Среди гостей виллы безошибочно отличаю нуворишей от аристократов: сколько бы человек ни заработал денег, его аура – картина происхождения, а меняется только рама. Разглядывая фотографии городов, куда могла бы поехать, обнаруживаю родство меж возведёнными в противоположных концах света. В жизни всегда одно повторяет другое, как вереница образов на портретах. Мои дни – олицетворение дежавю.

В детстве жила внутри захватывающего романа, а сейчас читаю нон-фикшн о ком-то далёком. Но каждое утро продолжаю спрашивать себя: ради чего открыла глаза сегодня? Те, кто вынужден просыпаться по будильнику и бежать на работу, чтобы прокормить семью, вправе считать меня паразитом, хотя любой из вас грезит очутиться на моём месте. Не спешите, вы не умеете жить в пустоте. Современное общество устроено по принципу постоянной занятости: днём – работой, вечером и в выходные – заботой о близких. Побывать собой и наедине с собой не хватает времени, потому что вы не знаете, как поступить с ним, не умеете думать свободным потоком ассоциаций – страшно захлебнуться и утонуть, страшно быть бесполезными. Представьте, как по ночам из года в год вас будит кошмар о том, что звёзды давно заржавели, – и не дожидаясь восхода солнца, помчитесь строить ракету. Я же ночами напролёт смотрю на дождь из окна и всерьёз начинаю верить, что фонари изобрели не для освещения парковых аллей, а чтобы в конусе света испарялись его капли. Если время – вода, и часть её должна обратиться в воздух, то есть и капли-мгновения, которые соберёт водосток. А среди них – одно настоящее, ради чего пролились все остальные. Человека посылают на Землю ради слова, сказанного вовремя и нуждающемуся или ради незначительного и почти неуловимого жеста. Такие мгновения звучат в музыке, запечатлены на холстах, закованы в мрамор и бронзу. Но если не рождён с талантом художника, скульптора или музыканта, о них можно просто рассказать.

Так, в «поисках утраченного времени» я завела дневник. Сперва его страницы загромождались бытовыми мелочами, как пустые комнаты забытым хламом, но потом случилось необъяснимое: день, изучаемый словно под лупой, вдруг стал восприниматься историей – если вообще ничего не происходит, нужно сочинить, найти, вспомнить. Маленькая тетрадка создала вокруг меня мощное магнитное поле, притягивающее в жизнь События.

День, когда я нашла дневник художника, могу восстановить по секундам. Солнечным утром резкие тени от витражей чертили на полу детские классики: прыг-скок туда-обратно по коридору и вниз по лестнице – в библиотеку. Дневник был запрятан меж стеной шкафа и другими книгами. Я потянула одну из них наугад, и толстенная тетрадь в кожаной обложке с ручным переплётом рухнула на пол, раскинув крылья-страницы, как подстреленный беркут.

«В древних манускриптах встречается описание казни «кровавый орёл»: жертве срезали кожу и мышцы со спины и выворачивали наружу лопатки наподобие крыльев, смерть наступала медленно, и однажды поверженный воин успел написать стекающей на камни кровью имена убийц. Но имена эти помнит лишь пламя ритуальных костров. Огонь

разрушает и создаёт. Искусство – хранитель очага Вселенной. Те из нас, кто, как Икар, подхватил опасную заразу, имя которой «гордыня», рано или поздно будет низвергнут. Мы живём в тёмные, варварские времена:

«Слишком долго Италия была свалкой всякого старья. Надо расчистить её от бесчисленного музейного хлама – он превращает страну в одно огромное кладбище. Музеи и кладбища! Их не отличить друг от друга – мрачные скопища никому не известных и неразличимых трупов...

Давайте! Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте воду из каналов в музейные склепы и затопите их! И пусть течение уносит великие полотна! Хватайте кирки и лопаты! Крушите древние города!

Мы освободим человека от мысли о смерти...»¹

Близится война: современные боги питаются человеческой кровью. Сделка с тьмой не единовременный акт, а череда маленьких соглашений, уступок, ступеней в Ад.

«... и нет ничего прекраснее этого огненного блеска!»

Италия жаждет вернуть былое величие, но не готова принять новых Караваджо и Рафаэлей. Мне платят золотом за копии с картин старинных мастеров, а на портреты раскошеляются железом, как ярмарочному фотографу². Живопись более не творит историю, но мнится источником накопления богатств. Некогда духовная невесомая красота, переплавленная ныне в роскошь, налилась тяжестью. А стяжательство – мать поджигателей прошлого. Новой эпохи Возрождения не случилось, настало время вырождков. Чертежи Леонардо ожили, великие мечты сбылись: по небу летают аэро, тайны камеры обскуры мельтешат на экранах, подражая лопастям вечного двигателя. Мир уподоблен идеальной машине, а слова «природа» и «вечность» утратили заглавные буквы. Магия простых вещей вышла в тираж.

Аромат фруктов на коже и в дыхании юноши, музыка, терпкая, как вино, обещания ночи в глазах лютниста³. Как сохранить волшебство? Воспроизвести чары мгновения? Аромат выдыхается, мелодия едва различима в шуме городов, ночи разбавлены электричеством. Копии обесценивают оригинал, лишают его первозданного света. Творцы прибегали к тиражированию своих полотен, картины за них дописывали ученики. Копиисты, вроде меня, плодили абрисы пустоты, смыслы за пределами сущности. История живописи – иллюзия, оплывающая на глазах свеча, и со временем уже никто не сможет опознать руку мастера. Я не верю ни глазам, ни каталогам, ни заверениям экспертов: многие картины попадают на стены музеев из частных коллекций. Подделки моей кистью украшают гостиные Милана, Парижа, Берлина, Лондона, а собственные дети стоят повёрнутыми лицом к стене в мастерской. Кто наказал их так жестоко и главное – за что? Что позволено Юпитеру, не позволено быку. Невозможно вообразить, как мадонны Беллини запрыгивают на подножку трамвая или усаживаются, подбирая юбки, в нервно фыркающий авто.

Моим картинам нужен воздух! Им необходимо общество, смотреть людям в лицо. Хочется заботы и восхищения. Но они продолжают подпирать стены, покрываясь язвами облупившейся краски. И кажется, пытке не будет конца. Вся моя жизнь положена на плаху безвестности, она и есть неумелая подделка. Лучше быть бастардом – незаконнорожденным сыном природы, чем долгожданным, но искусственно выращенным в лаборатории внуком⁴. Да, я не могу творить, как мастера эпохи Возрождения, потому

¹ Из Манифеста «Футуризм» Филиппо Томазо Маринетти парижской газете «Фигаро», 1909 г.

² Игра слов: ферротипия (ferrotip-type) – моментальная фотография на железных пластинках, удешевившая процесс амбротипии (на серебре). Благодаря лёгкости и прочности, её вкладывали в фотоальбомы, посылали по почте, с ней работали профессионально на пляжах, праздниках, ежегодных ярмарках и рынках до первой мировой войны.

³ Картины Караваджо «Юноша с корзиной фруктов», «Музыканты», «Лютнист»

⁴ «Я говорю живописцам, что никогда никто не должен подражать манере другого, потому что он будет называться внуком, а не сыном природы в отношении искусства». Леонардо да Винчи.

что живу в иное время. Не могу видеть мир их глазами. Но я могу повторить их путь. Поджигатели в чём-то правы, существует удел отчаявшихся и отчаянных. Всякий из нас рождён, чтобы добавить миру красок. Выживает в искусстве тот, кто создаёт новое искусство. Новый язык, новую форму. Караваджо утверждал, что Спаситель сделан из плоти и крови, – и писал фотографии⁵. Современному чёрно-белому миру не хватает цвета! У машин не бывает души!

Так, в поисках утраченного времени я решил следовать его законам. Шаг за шагом, за взглядом взгляд и мечта об идеальном цвете – языке первобытных, очищенных от копоти и золота эмоций – завладела мной.

Помню, как ярко светило солнце в день, когда покидал мансарду. Мечты о поездке на Парижскую выставку так и остались мечтами. Не рассчитал денег и на новую жизнь: отказался от трёх заказов, а накопления промотал до последней лиры – на женщин, вино, холсты, оперу, лучшие виды Милана, открывавшиеся из просторных мансард. Вору деньги жгут руки, каплями воска утекают сквозь пальцы. Вырученные за чужое искусство, они не могли служить моему. Меняя кварталы и спускаясь по лестницам в подвалы бедняков, чувствовал себя бесконечно счастливым, словно возвращался в детство человечества.

Осень обнажала ветви деревьев, давая понять: нет одинаковых линий судьбы на ладонях. Любовь не повторяется дважды, влюбляешься заново, в другую и по-другому, но с тем же накалом страстей. Мелодию можно сыграть на любом инструменте: звучит по-разному, но на одной высоте. Я писал в парках, на улицах и площадях, на рассвете и днями напролёт до кобальтовых сумерек, погружаясь в градации цвета, как в калейдоскоп. Продал несколько полотен скромной галерее на окраине. Купил материалы для работы и продолжил свои эксперименты. Из окон комнатухи в подвале видел лишь ноги прохожих, но теперь мне и этого было достаточно. Научился не выбрасывать заплесневелый хлеб и в буквальном смысле питаться росой – в пекарне над головой по ночам колдовали над сдобой, и карнизы поутру были сладкими. Улочка, где снимал угол, упиралась в мясную лавку, и возвращаясь домой, я с жадностью разглядывал свежие куски, сочившиеся кровью, вдыхал запах плоти, смерти и возрождения, испытывая головокружение голодного хищника. Иногда кисть в руке весила тонну, а разум был ясен, как небо ветреным днём. Листья вихрями кружились в подворотнях, осень становилась злой. Но я знал: Бог не приемлет жертв, жертвы нужны людям, чтобы уверовать. Моё яростное счастье не имело ничего общего с одержимостью. Творчество и есть моя настоящая жизнь, принося себя в жертву, я боролся за выживание. Создавал себя разрушая.

Однажды утром начал задыхаться от приступов кашля. Дождь лил несколько дней, с подоконника текла вода, и на полу уже было по щиколотку. Сыростью, как кислотой, разъедало кожу, холод пронимал до костей. В ужасе ринулся спасать холсты. Первые дни ноября работал в парке, пока дождь не загнал меня обратно в подвал, в забытые болезненных снов. Расстелив холсты на кровати, понял: картины потеряли не только форму и контрасты светотеней, но и контуры. У меня в руках мерцали бесплотные цветочные пятна. Фосфоресцирующие призраки плясали в сумраке подвала, повторяя и догоняя друг друга, как капли воды, сливаясь в единое цветочное безумие. Но я верил: активные цвета – живут.

– Отвратительный кашель, дружище! Продолжишь в том же духе, и туберкулёз тебе обеспечен.

Он выскочил на меня из тумана улицы Данте, как Вергилий из преисподней. Прошлое показалось чьей-то чужой жизнью. Отвечать было тяжело, разговор еле

⁵ Персонажей для своих картин Караваджо искал в толпе на улицах и площадях и, как многие другие мастера эпохи Возрождения, использовал возможности камеры-обскуры, описанной Леонардо да Винчи, чтобы создавать реалистичные картины.

теплился. Но делец и не слушает – некогда, время – деньги, сунул в руку визитную карточку со словами «работа тебя убьёт, следует отдохнуть на природе», и его автомобиль затерялся среди трамваев. А спустя неделю принял как почётного гостя на своей загородной вилле, так и не догадавшись о том, что со мной случилось.

Терраса соединяла столовую с садом. Ужин подавали поздно и при свечах. Тонкий звон стекла, похожий на стон, заставил оглянуться. Его жена замерла на секунду в проёме двери, удивившись появлению незнакомца. Красное платье, а за плечами – густая синяя ночь. Моя лучшая картина была написана и заключена в раму».

– Картина в конференц-зале.

– Он же в подвале!

– Не в подвале. Цокольный этаж – идеальное место для конференций, просторно и не работает мобильная связь.

– Мы должны вернуть её на прежнее место. В столовую. Картине нужен воздух.

– «Сестра Кардинала» – самое дорогое полотно нашей коллекции, а конференции снимают телевизионщики, картина мелькает на экранах.

– «Сестра» не подлинник, а перелицовка... из портрета моей прабабки.

Художник был случайным гостем на вилле. Мои предки занимались куплей-продажей предметов искусства и аккуратно вели дела, но к семейным архивам относились беспечно: историческая встреча избежала упоминания в переписке, не запечатлена на фотографиях. Как его звали? Имя не феникс. Никто не подписывает свой дневник. Как мог он затеряться среди книг? Художник больше ничего не писал и бросил дневник за ненадобностью, бежал с виллы, забыв его в спешке, погиб? Как бы там ни было, но эскизы – разоблачение прошлого. Картина ожила, сняла маску, и мир вокруг нас пришёл в движение.

Красное платье моей прабабки вспыхивало в полумраке лестницы, пока мы с дядей тащили картину наверх. Синий фон отразил край вечернего неба за окнами, когда мы закрепили её на стене и отступили назад, разглядывая словно впервые. Я ощутила август, его альтовый, насыщенный тревогой и печалью тон. Лету конец, и отовсюду крадёт осень – нет, ещё не страх, но предчувствие страха. Я знала: неоценённая картина – бесценна, и очнувшись от долгого сна, не согласится жить под чужим именем и с чужим лицом.

Не существует Высшего Суда для искусства: раньше шедеврами считали картины, пережившие время, теперь, когда времени не осталось, – всё, что дорого продаётся. Цены диктуют арт-дилеры: купленная в десять раз дороже у себя же на аукционе картина попадает в каталоги и при последующих продажах будет расти в цене. Со временем её начинают подделывать. Художник стремился вдохнуть прошлое в настоящее, воспроизвести руку мастера, убивая себя. Те, кто пришёл после него, убивают других. Картины малоизвестных художников перелицовывают в шедевры звёзд-современников. Копии больше не пишут, опасно: экспертиза выявит возраст красок и полотна. История, как и память, стирает лица и имена, замещает персонажей второго плана. Воин на полном скаку отрубает головы, а потом оглядывается и видит, что все они – его собственные. Даже наскальные рисунки не вечны: ветер, вода, песок... Наша жизнь – перелицовка: рисуем уважаемых граждан поверх дерзких детей, превращая лёгкий след от улыбки в морщины скорби. Бог сотворил нас подделками – по образу и подобию, если бы жизнь была подлинной, мы бы не умирали.

Дядя просил подождать с экспертизой до весны, не привлекать внимания к картине в сезон наплыва гостей: это может поставить под угрозу всю коллекцию и репутацию

виллы. Но способен ли кто-то удержать равновесие, шагнув вперёд и не коснувшись земли? Слова плетут судьбу, дают власть над временем, обрекают на безоговорочную победу. У каждого человека – своя Вселенная, где он – Бог и решает, кому жить, а кому умирать, что считать подлинником, а что подделкой. В моём мире хватало места только для нас троих. Но осень привела в нашу жизнь Настоящую Женщину. Так называл её дядя. Поначалу они и правда были безмятежно счастливы, как все влюблённые. А спустя месяц меня стали будить по ночам громкие споры. Она уговаривала дядю продать виллу и вложить деньги «в дело». В последнюю ночь дверь в спальне не хлопнула – взорвалась. Никогда! Слышала, как он плачет внизу в гостиной. Ещё один узник родового гнезда. Отчаяние, отречение, одиночество – кольца слов прочнее обручальных. В гостиной и я плакала в детстве. Когда родители отправили в школу, плохо привыкала к классу, к порядку, к урокам по расписанию. Однажды в ручке лопнул стержень, и чернила разлились по всему рюкзаку. Смотрела на чернильное море в рюкзаке, бессильно цепенея от страха перед наказанием. Мальчик с соседней парты протянул ручку и чистую тетрадь. Как он догадался? До сих пор помню его улыбку и запах – солнца и черничного пирога. До сих пор кажется, что Земля населена существами с разных планет, и если вдруг встретишь своего, не отпускай никуда, другого такого не будет. Домой за руку привёл дядя. В школу я не вернулась, родители наняли репетиторов. И сейчас картина не позволила нам разнять рук. Настоящая Женщина улетела в Париж, а я приняла нашу связь за пределами крови.

Соперница появлялась неслучайно. Её слова «Реализм нынче не в моде!» сделали дядю завсегдатаем аукционов. Дорогой и растущий в цене авангард выживал из дома старинные портреты кисти малоизвестных художников. Безымянные призраки покидали виллу один за другим. Вместо них со стен таранились монстры с размашистыми подписями в углах холстов. Думала, старость мне не грозит, если вместо зеркал повешу картины, но глядя на фиолетово-жёлтые, искажённые болью и ужасом лица, хочется умереть или обречься наголо. Когда долго плачешь, лицо застывает восковой маской, а по ночам снятся кошмары о зеркалах. Самый близкий мне человек превращался во врага, отсчитывал ступени в Ад. И нашему противостоянию не было конца. Я не решилась бы бороться за наследство ни с его женщиной, ни тем более с ним. Ждала исхода, пытаюсь отвлечься. Перечитывала строки из дневника художника о безумии как о привилегии, спасительном лекарстве от боли. О том, что борьба между «казаться» и «быть» – путь к возрождению. Оправдывала высшую несправедливость верой в чудо создавать миры, которая даётся лишь тем, кому жить настоящим невыносимо.

Я могла бы обнародовать дневник с эскизами, жёлтая пресса падка на сенсации. Подделка страшна не тем, что мастерам добавляют фальшивых полотен, а тем, что кого-то лишают имени, принося в жертву. И жертва рано или поздно потребует возмездия. Чтобы рухнул картонный домик, достаточно выдернуть одну карту. Чувствовала, дальше – художник позаботится о своей картине.

Сенсация не заставила себя ждать. «Махинация века!» – кричали заголовки. Газета трепетала у дяди в руках, как иссушенный ветрами лист, задержавшийся до весны на ветке. Недавно купленные им на аукционе полотна авангарда объявили подделкой.

– Я не знаю кому и во что мне верить! Так мы всё потеряем...

– У нас ничего и не было. Весь мир – подделка.

Мы не смогли вернуть художнику имя, и он уничтожил нас, чужая жизнь никому не нужна. Когда вечером из камина выпало горящее полено, и огонь побежал вверх по портьерам, я не удивилась, только поблагодарила мысленно, что дождался отъезда гостей. Мы были одни на вилле, распустили прислугу – поменьше сплетен накануне возмездия. Наутро должны приехать эксперты, оценщики всей коллекции. Мы стояли и смотрели, как огонь пожирает полотна. Молча, не шелохнувшись. Фальшивки считаются подлинниками, если не доказано обратное. Мёртвые люди продолжают жить на портретах. Картины останутся в каталогах. Светлая им память. Огонь разрушает, создаёт – и хранит.

Инстинкт самосохранения толкнул нас навстречу друг другу. Последний шаг и родовое кольцо замкнулось. Языческий ритуал кровосмешения: если старший брат не вернётся с войны, жену наследует младший. Отец не смог подарить тебе её, они не вернулись вместе, держась за руки, но зато есть дочь. Моя прабабка смотрела со стены, как таяли наши тела в отсветах пламени. Её платье – огонь и не загорится, подобное не разрушает подобное. Завтра ей позволят выйти из тени.

За окнами сгушались синие сумерки.

«Синий цвет влечёт в глубину сна без сновидений, – писал в дневнике художник. – Тонешь в бездонном мире иного за пределами человеческих чувств. К синеве нельзя прикоснуться, как нельзя догнать горизонт, её созерцают вслепую, будучи уже частью картины, растворившись в ней без остатка. Синий я – провидение, Божье око. Красный меня останавливает на пороге ночи, как факел в руках привратника, обещает тепло, пищу и кров. Красное платье жрицы огня. Жизнь из плоти и крови. Радость и насыщение. Солнце погружается в океан, в водовороте рождается Вселенная. Я шагаю босиком по кромке закатного неба, как канатоходец, храня её равновесие времени-вечности. Жизнь наполняет искусство, искусство творит жизнь».

2012, Милан-Сенаго (Вилла Сан-Карло Борромео)

ВЗГЛЯД ВОДЫ

Зачем покупать чужие улыбки? Не лучше ли дарить букеты? Идёт через площадь цветов, мимо красно-жёлто-фиолетового переплетённого благоухания. Живого. До Риальто, где продают маски покойников: выражения лиц не изменились за почти тысячу лет. Никогда не любила маски, но улыбалась подарку – от него.

В тот год радуги над каналами были вертикальными, не повторяли изгибы мостов. Такое запоминается, а память добавляет прошлому золота. Как знаменитые венецианские зеркала. Она приехала в Венецию ненадолго – подучить итальянский, а осталась на несколько лет. В тот день стояла на мосту, смотрела в воду и не знала, куда идти дальше.

Люди не понимают главного. Говорят: Венеция – храм, застывшая в камне музыка. Красивые слова, не более. На самом деле Венеция – это лабиринт, копия человеческой жизни, где улицы – мечты и возможности, а мосты – преграды. Сюда нужно попасть хотя бы затем, чтобы разобраться в себе: заблудиться, увидеть в воде двойника, подумать, не сбилась ли с пути.

Окно распахнулось на дне канала. «Как найти...», – начала она. «Зайди, объясню», – перебило отражение и закрыло окно. Оглянулась по сторонам: никого.

В маленькой квартирке над водой жили зеркала и статуи. Художник писал на заказ портреты через зеркало. В амальгаму венецианских зеркал добавляют золотой порошок, что придаёт отражениям тёплые оттенки, «внутренний свет». Портреты выходили красивее моделей и льстили заказчикам. А для души художник писал статуи, не любил живых: несовершенны. И только её писал без зеркала. Когда заметил на мосту, показалось, радуга. Розовый отблеск, отражение от воды. Но и в тёмной прихожей радуга не исчезла. Радуга рождалась у неё внутри независимо от времени, места, погоды. У многих мастеров были любимые модели: у Рафаэля – Маргарита Лути, у Рембрандта – Саския, у Рубенса – Елена Фоурмен... Почти ничего не известно об их судьбе: как жили, чему радовались, о чём грустили, что пытались забыть. Облик Мадонны и творческий взлёт. Вчерашние наброски – завтрашние шедевры. Выставки картин и независимость

кисти. Молчание вдвоём и долгие часы объятий. Нагретая постель и от волос аромат инжираб.

Пропала так же внезапно, как и появилась. Вещи по-прежнему висели в шкафу, но зеркала в квартире потемнели. Художник искал её много лет. Чувствовал: ничего не случилось плохого. Знал: жива, уехала из Венеции. Куда? Ни намёка, ни записки. Даже на зеркале.

Сейчас сидят за столиком в кафе с видом на Риальто. Он листает меню: что заказать, чтобы подольше готовили? Говяжий язык, тушёный в красном вине? Фаршированные кальмары? Ризотто с...

– Мне кофе, – перебивает она.

– Прочёл твоё имя на афише и пришёл на выставку. Сильные фотографии. И странное ощущение... Фонограммы. Как если бы в опере вместо Чечилии Бартоли или Анны Катерины Антоначчи мощным сопрано запела бы маленькая девочка. Не ожидал.

– И никогда не видел меня. Наверно, билет в нашу оперу купил на галёрку.

– Неправда! Ты была самой живописью, жизнью, всем.

– Тогда сейчас гордился бы мной. Участвовать в фотобиеннале престижно для фотографа.

– Прости. Знаешь, как отношусь к фотографам? Сравнить фотографию с живописью всё равно, что Паралимпийские игры с настоящими. Забег инвалидов в колясках. Мечтал человек стать художником, но Бог не дал руки. Глаза дал, да. Поэтому фотографирует, но не пишет. То, что художник пытается оживить кистью, придав изображению тёплые оттенки, фотограф замораживает, убивает. Если это месть мне, то не понимаю за что?

– Нет, не месть. Фотография – мой выбор.

– На выставке видел своё окно. Возвращалась в Венецию?

– Да. Несколько раз. Снимала серию «Взгляд воды». Но плёнки оказывались мистическим образом засвечены, а те немногие фотографии, что получились, выглядели пугающе. К примеру, на одной из них на подоконнике лежит кот, а в отражении в воде канала его нет, будто спрыгнул или не успел улечься, будто вода предсказывает или, наоборот, не поспевает за временем. Вода – как живое, несовершенное зеркало.

А жизнь складывается из мелочей, которые привыкли не замечать. Если на окна наклеить защитную плёнку, то всё происходящее за ними видно лишь с близкого расстояния, отойдите на шаг и встретитесь с пустотой. Отражением такого окна будет чёрный квадрат.

Жизнь проносится мимо, пропущенные дни стираются из памяти, словно и не было вовсе. Он не помнит серые дождливые дни на Лидо. Как пытался забыть её и писал море. Эти дни не спасти ни углём, ни акварелью, ни маслом. Достиг предела, когда человек начинает жить прошлым, а воспоминания скрывают от глаз пейзажи настоящего, как защитная плёнка. Мокрый песок, чаек, детей, играющих у кромки воды. Пустые холсты времени – многие дни вашей жизни. В детстве строили замки на песке, а повзрослев, превратились в печальных мастеров тщеты.

– ... стояла под моим окном и не зашла! Почему не вернулась?

– Могла бы, но... Это как сеть: чем сильнее бьёшься, тем крепче держит, тем больше запутываешься. Ты растворял меня в себе. Знаешь, откуда берётся «внутренний свет»?

Записки души, разбросанные по всему дому. Писала стихи на листках и салфетках, и на итальянском тоже, забывала на подоконниках, столе, буфете, постели. Не читал, видел тело. Думал, розовый свет, сияние – свойство кожи, тонкой и бледной, струящейся и прозрачной, как дорогой шифон. Мужчины в своём поклонении женской красоте

⁶ Инжир (также известен как фиговое дерево, смоковница, винная ягода) – одно из самых древних растений. Согласно Библии, Адам и Ева, вкусивши запретный плод, открыли свою наготу «и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания».

беспощадны к её обладательницам. Привести бы здесь несколько строк из тех, что были скинуты ветром в канал, но боюсь, не удастся: чернила размыты временем.

– Большинство женщин мечтают быть счастливыми, моё желание – просто быть. И не ребром Адама или Галатеей. С собой. После тебя не была счастлива, но была. Не нравилось, когда на меня смотрели, хотелось видеть самой. Хотелось дороги с мечтами, возможностями и преградами, понимаешь? Ты же водил меня за руку, оберегая от жизни, так ни разу и не позволив заблудиться в лабиринте мостов и каналов.

– Я боялся тебя потерять.

– Чтобы к тебе возвращались, нужно уметь отпускать.

Утраченные стихи не были поэзией, так, плохо рифмованные строки обо всём на свете. О пропущенных минутах и днях. Художник рисовал её медленно, словно впитывал жизнь в полотно. Стоя, сидя, лёжа. Прикрывал и обнажал, складывал и раскладывал, приближал и удалял от холста. Простаивала целые дни, глядя на солнечные лучи, бегущие по воде канала, как стрелки часов. Гадала, что происходит за окнами: в гондолах и садах, на набережных и площадях. Воображала людей, которых никогда не увидит. Весну, убывающую в страницы календаря на стене, как дождевая вода в трещины брусчатки улиц. Считала синие полумесяцы и красные солнца над лагуной: за долгое лето, за много лет, ни разу не отвёз на острова! Утро – день – закат – вечер – ночь. Весь мир – окно. Иногда гуляли по городу – держась за руки.

– Если бы у меня, как у кошки, было девять жизней или хотя бы две, то одну посвятила бы тебе. Любила всем сердцем. Но дана единственная жизнь, и никто не вернёт, не проявит исчезающее время, как фотографии. Влюблённые не чувствуют времени, не помнят о годах и минутах, и жизнь проходит мимо.

– А может, в этом и есть жизнь?

– Не знаю. Жизнь – это выбор. Или окно в мир, или мир в окне. Я выбрала мир. Живут же фронтовики с осколком в сердце! Поначалу фотографировала всё, что видела. Каждую минуту, дерево, птицу, встречного. Всё, что пропустила, стоя и лёжа на полу в твоей мастерской. Чувствовала себя регистратором мгновений: отразить, запомнить, сохранить навсегда.

Куски жизни, осколки зеркала. А она – ловец отражений. Мастер репортажа. Побывала везде, где хотела, и там, куда не стремилась, видела мир и войну. Профессия. Научилась отбирать коммерческие фотографии для выставок и журналов из тысячи тысяч снимков. Свой дом превратила в библиотеку мгновений, ни за что их не выбросит, даже если места не хватит жить рядом. Первые мгновения застыли в записках – фотографировала словами. Но слова ненадёжны, выгорают со временем. Чем чаще повторяешь, тем быстрее теряют форму и цвет.

Торт, что в кафе ела толстая девочка, был белым и огромным, как Монблан. До того, как взяться за ложку, девочка смотрела на молчащий телефон. Наверно, ждала звонка, наверно, очень долго ждала. Телефон продолжал молчать. Глубоко вздохнула и начала есть. Жадно, как гусеница, гору из крема, которую и втроём-то не проглотить за раз. «Как же права эта девочка! – думала она. – Тот, кого ждёт, не разделит с ней торт. В ожидании жизни нет жизни, оно – мертво». Расплатилась с официантом и поехала в аэропорт. Голодала давно, не терпелось жить.

– Почему уехала, не сказав ни слова?

– Ты бы не понял. Превращал меня в статую.

Накануне отъезда сидела на полу и собирала учебники. Три раза в неделю посещала курсы итальянского, а после занятий не спешила домой, бродила по мостам над каналами, глядела на облака. Низкие осенние облака плыли над городом, разинув пасти, как стая голодных акул. Мёрзли руки, изо рта шёл пар. Ветер срывал со стен афиши летних концертов под открытым небом.

– Тебя долго не было, – он вырос в проёме двери. Свет падал наискосок, тень ползла по учебникам, ложилась на плечи.

– Нас задержали.

– Звонил твоему преподавателю. Сегодня занятия отменили.

Начала оправдываться, объяснять что-то о внутренней территории, о мыслях, текущих, как реки. Рассказывала о том, что человеку нужно иногда побыть одному, раствориться в дымке над каналами, ощутить глубину внутри себя, ведь повседневность несёт нас, словно осенние листья, по поверхности жизни. За всё время, что провели вместе, не говорила так много. Понимающе кивал. Но в тот вечер с дверей ванной комнаты и туалета исчезли замки. Потом начал входить без стука. И завязывал глаза, когда занимались любовью. Ей это тоже не нравилось, как и маски, повешенные на стенах.

– Внутренний свет, что ты любил во мне, вырвался наружу. Больше не смогла просыпаться только ради тебя.

Не заметили, какие места заняли за столиком в кафе? Друг против друга. А можно было сесть рядом. Почувствовать радуго. Понять, что в людях любите своё отражение.

Художником решил стать в семнадцать лет вопреки воле отца. Мечтал о Риме и Флоренции, но переехал в соседний квартал. Отец владел ювелирной лавкой: прославленное муранское стекло, украшения, зеркала, вазы. По легенде, мастера-стеклодувы, покидающие Венецию, пропадали при невыясненных обстоятельствах. Зеркала не отпустили его. Отец не звонит, а если случайно сталкиваются на мосту, отводят глаза и смотрят в воду. Но детская комната в родительском доме сохранилась нетронутой. Комната-музей. Отец любит его тем, кем хотел вырастить, – продолжением. Любит свою тень.

– Ушла, чтобы остаться навсегда. В воспоминаниях видишь меня, какой хочешь. Забываешь ссоры и неприятности, но помнишь, как целовала по утрам. У памяти нет дверей и окон, и значит, никуда не уйду. Сделаю, что пожелаешь, не рассержу, не огорчу, не обижу. Я тоже жила с тобой много лет. Когда фотографировала, думала, написал бы ты этот кадр или нет. Видела, как утреннее солнце крадётся по подушке, чтобы поцеловать вместо меня. Смотрела твои сны, смеялась шуткам, чувствовала ладонь на плече. Заставляла догадаться, что плачу, когда шёл дождь, и капли текли по лицу. Воспоминание не нужно выгуливать на острова, оно не забеременеет, не растолстеет, не постареет. Да, к нему нельзя прикоснуться, но и люди, живущие рядом, с годами касаются друг друга всё реже.

Подобные портреты художник писал через зеркало до встречи с ней. Юные гибкие тела с возрастом утратили подвижность, открытый взгляд стал прищуром хищника, улыбку сменила гримаса недовольства. Глупые привычки, когда-то давно вызывавшие смех, раздражали. Мечты превратились в планы. Люди потеряли радость и не заметили, как окаменела любовь. Чувствовали смутно, что с каждым прожитым днём быть рядом всё холоднее, и потому вынуждены отстраниться. «Мы не погаснем, – твердил, снимая замки с дверей, – нужно только быть вместе: не рядом, а вместе. Всегда вместе». Но ни разу не задумался над асимметрией семейных портретов: почему одна из фигур непременно массивнее, важнее.

Любовь непостижима вами, как и свобода. Храните на расстоянии, а вблизи пытаетесь уничтожить. Кровь по составу – почти море, но рождаетесь в замкнутых оболочках, и потому не сливаетесь, не наполняете друг друга, как сообщающиеся сосуды. Напротив, попадаете в плен сначала одного человека, потом другого, после в плен воспоминаний, а когда воспоминания темнеют, как зеркала, становитесь узниками одиночества. Не видите себя настоящих, только тела или то, что написано в документах. В богатом любите деньги, в сильном – защиту, в красивом – наружность, в умном – знания, в шутнике – лекарство от скуки, в ребёнке – надежду, в старике – опыт.

Но волны рождаются в глубине морей, на поверхности звучат отголоски, не вода поднимается – пена. Сын бизнесмена мечтает писать картины, красивая – фотографировать, умный – задавать вопросы, шутник – разрыдаться в жилетку, ребёнок – уйти из отчего дома, старик – начать всё с нуля, но иначе. Вы есть то, что пока не дано, не досталось, вы – мечта и дорога. Радуга, свет на воде. Невозвратность жизни – истина, с которой каждый борется по-своему, и кто-то сдаётся и носит маску, а кто-то пытается поймать отражения.

Незнакомец, ты стоишь на мосту. Задержишься ненадолго. Неужели думаешь, что знаешь о себе всё? Загляни вглубь, на самое дно. Вода – древнейшее зеркало, мудрое. Помнит все жизни от начала времён, и никто не сможет его разбить. Не бойся, подойди поближе, перегнись через перила. Посмотри мне в глаза.

Венеция, февраль, 2011

ИЗО-ЛЬДА

*Тишина никогда не безмолвствует,
в ней звучат голоса воспоминаний.*

Тебе почти сорок. Красишь волосы в чёрный цвет и носишь зелёные контактные линзы. Не так уж и молод, но в концертном фраке становишься дьявольски привлекательным. Мечтой женщин. Ни одна из них так и не узнала, что чёрная краска нужна тебе, чтобы скрывать седину на висках, а без линз не вписываешься уже в дверные проёмы. Ты всех изолировал. Никто не делит с тобой стол, постель и кров. Никто не проникает в тебя слишком глубоко, чтобы понять, кто ты.

Руки с тонкими длинными пальцами – такие бывают только у душителей, карманников, карточных шулеров и пианистов. Женщин не интересует их предназначение, равно как и твоя музыка. Глядя, как замирают твои руки над клавишами, они думают о другом. Измеряют диапазон чувствительности.

– Сыграй мне что-нибудь на рояле, – и голос срывается на горячий шёпот.

– «4.33» Кейджа⁷ хочешь?

Ни одна из них не выдержала и полутора минут тишины.

Люди избегают тишины, боятся услышать в ней себя, осознать ничтожность собственных мыслей и чувств. Говорят, заключённых одиночных камер сводит с ума стук бьющегося сердца. И потому люди постоянно создают шумы, а музыка – самый совершенный из них. Перевод с языка безмолвия. Музыка всегда между людьми, как буфер от пустоты, мягкая прослойка мелодии. Искусственно созданный звуковой фон дарит ощущение покоя и безопасности: он предсказуем, его можно разложить на семь нот,

⁷ «Четыре минуты тридцать три секунды тишины» — пьеса американского композитора Джона Кейджа для вольного состава инструментов. На всём протяжении исполнения сочинения участники ансамбля не извлекают звуков из своих инструментов, с целью привлечь внимание слушателей к естественным звукам окружающей среды, которые будут услышаны во время «прослушивания» композиции.

запереть внутри грампластинки, диска или кассеты, воспроизвести снова и снова, сохранить в mp3, вернуть, подарить, присвоить.

Музыка со-настраивает людей, как инструменты одного оркестра. Вот эта пара слушает джаз, а та – классику или рок. У любителей разной по стилю музыки на лицах написан развод. У некоторых, правда, всего лишь обречённость до скончания века смотреть ток-шоу по телевизору. Конфликт поколений тоже начинается с музыки. Никто не сидит в тишине.

Твой отец, царство ему небесное, научил тебя этому.

– Выключи телевизор, – говорил он, – жизнь и так коротка! Лучше смотри в окно.

Ты и смотрел, но за окном вечерами быстро темнело. Воссоздавал картину жизни двора по звукам, доносившимся из открытой форточки или межоконных щелей – стеклопакетов тогда ещё не было. Шелест машинных шин по асфальту рассказывал о прошедшем дожде, скрежет веток по карнизу – о резком ветре, воркование голубей о том, что вот-вот ручьями прольётся весна. А еще из окон во двор проливалась музыка. И ты представлял лица людей, которые её слушали. Их характер, мысли, судьбу. Ты знал почти всё обо всех, кто жил рядом. Самое сокровенное. Сонаты, симфонии, концерты...

Музыка была воздухом, которым дышал ваш двор. Секунду назад она была заперта в одной комнате, а в следующую уже проникала в другую. Во все окна ваших домов. Музыка была светом невидимых фонарей, растворявшим тьму. Творцом новой реальности. И ты уже тогда знал, что музыка – продолжение, союз звука и тишины. В ней нет бесполезных шумов. Только гармония жизни. Ты никогда не слышал «попсы». Ваша осень начиналась стандартно, как во всех дворах, с «Вальса Бостон», но потом звучали Моцарт и Шнитке, Rolling Stones и Синатра, Джимми Хендрикс и Роберт Джонсон... Ты был счастлив тогда, тебе повезло.

Твоя мать ни разу не повышала голоса на твоего отца. А любимой сказкой на ночь, конечно же, был миф об Орфее и Эвридике. Ты уже тогда чувствовал, что всю жизнь будешь играть джаз. Писать картины звуками из открытых окон. И в твоей музыке будет сколько угодно нот: тишина никогда не молчит, и каждое её мгновение неповторимо.

Никто не знает, как мы выбираем свой путь, как становимся теми, кто мы есть. Тысячи маленьких незаметных столкновений и пересечений, подслушиваний и подглядываний, ударов в спину и попыток угадать. Паутинки судьбы. Тонкое кружево, которое легче порвать, чем распутать. Но если человек наделен талантом, недостаточным для того, чтобы к его ногам упал весь мир, но и не позволяющим ему жить обывателем, то талант этот уже не дар божий, а проклятие. Самое худшее – быть в середине, быть только вторым – последователем. Исполнителем чужой музыки.

Да, женщины не умеют слушать, потому что не могут и полторы минуты помолчать в тишине. Чтобы научиться слушать, нужно онеметь.

После автомобильной аварии, в которой погибли её родители, не произнесла больше ни слова. Брошенный несчастный ребёнок. Несколько лет безмолвия, боли и одиночества. Её дед решил, что спасёт только музыка. Всё остальное он уже перепробовал. Первый ряд, четырнадцатое и пятнадцатое места. Ты видел их на каждом концерте.

– Это Изольда, – сказал старик, когда они прошли за кулисы, – ей нравится, как вы играете.

И ты вспомнил открытые окна своего детства. Снова стал сочинять музыку тишины. Сменил концертный фрак на домашний халат и играл, играл, играл часами напролёт, когда очередная благоверная уходила на работу или по магазинам. Навещал Изольду в больнице, где её лечили от тяжёлой депрессии, и приносил с собой гигабайты мелодий. Она ждала тебя у окна, облакачивалась на подоконник, подпирала щеки или подбородок руками и могла так простоять до позднего вечера. Подарил ей плеер, чтобы она слушала твой дождь и ветер, твои деревья, улицы, лица, озёра, реки, океаны, мечты. Сумел сыграть даже смешные ямочки у неё на щеках и подбородке – следы рук на чувствительной

детской коже, следы зачарованности твоей музыкой. И ни разу не пытался заговорить с ней: музыка вам заменила слова.

Ты должен был стать её Орфеем, вывести из темноты. Мог бы научить её снова смеяться. Но ты, мелочная твоя душонка, завидовал ей! Её тишине. Её безмолвию. Её одиночеству. Ты бы всё отдал за возможность уединиться в стенах палаты, спрятаться в тенистом больничном парке. За маленький рай, где тебе бы никто не мешал сочинять.

– Я мечтаю услышать, как поют киты, – сказала она в тот день.

Первые и единственные слова, которые услышал. Ты так и не узнал, что в тот день у неё сломался плеер. Ты был занят: возвращался в свой ад – домой. Из окна тебя провожал взгляд манекена. Брошенный несчастный ребёнок. Ещё несколько лет безмолвия, боли и одиночества.

Тебя научили предавать, сделали мазохистом. И вот ты уже притворяешься, будто окружающие люди лучше знают, как тебе лучше. Они всё решают за тебя. Произносят немыслимое количество пустых, ничего не значащих слов, но никогда не жалеют о словах, которые промолчали. Трагедии на лицах тщательно скрываются. Друзья, коллеги, соседи, женщины ... говорят, говорят, говорят, не смолкая ни на минуту. Даже когда их нет рядом, продолжают говорить в твоей голове.

Они давно распрощались со своими детскими мечтами и теперь живут не там и не с теми, и потому им так важно завербовать и тебя: если все вокруг страдают, ты тоже должен. Никто не бывает один. Ни у кого нет возможности уйти в себя: метро, дом, работа. Мы окружены, взяты в плен чужого, зачастую, вынужденного присутствия. А если остался один, срочно подключайся к телевизору, интернету, радио. Нужна связь с миром, ты просто обязан быть связанным им по рукам и ногам. Одинокая прогулка в больничном парке кажется недостижимой мечтой.

– Ты – эгоист! Ненормальный аскет! Одиночество – это болезнь. Теперь, когда встретил Леру-Веру-Машу, всё будет хорошо, ты выздоровеешь. Вам нужно срочно пожениться и завести ребёнка, лучше двойню. Нет? Ты что, собираешься всю жизнь просидеть под деревом, как тибетский монах?

– Да, я аскет, сижу под деревом, но вы все живёте – даже не в дурдоме, хуже. В дурдоме я навещал Изольду, там тихо, а в парке поют птицы. Остров безмолвия, ноты великой музыки.

Джазовые мелодии открытых окон твоего детства – далеко позади. Смена поколений. Из тишины легко сделать шум, но наоборот не получится. Круговая порука помех. Главное – не сидеть в тишине. Твои бедные уши уже кровоточат. Рывания мексиканских сериалов под грохот выстрелов ментовских войн – это телевизор орёт во все горло в доме. Кафе, где ты обедаешь, наводнили биржевые маклеры из кинофильма «Затмение» Антониони. Никто не молчит. Все связаны с миром. Дома строят и перестраивают, шаги по улицам города в такт отбойным молоткам. Марш в аду.

Люди производят шум, как мусор. И выбрасывают его из окон домов и машин. Они прячут недостатки тела в одежду, но никогда в молчание изъяны души. Заглянувшие «в пустую комнату» мысли нужно обязательно прокричать. Радость проржать в голос. Колонки в машине настроить так, чтобы вся улица наслаждалась любимым DJ-ем. Ваш город – свалка звукового мусора. Ты больше не слушаешь тишину, слушаешь плеер. Музыка – самый совершенный шум, созданный человечеством. Идеальный глушитель всех остальных. Чувствуешь себя живым, вспоминая джаз из детства. Играешь свет невидимых фонарей своего двора. Музыкой растворяешь грязь мусорных свалок и темноту вокруг.

– Кому нужна музыка, за которую не платят? Концертами ты хотя бы зарабатывал нам на жизнь. А с твоим сочинительством мы скоро протянем ноги.

Женщины аплодируют тебе на концерте, пока играешь чужую музыку. Смотрят на твои руки, пока даришь ласки. Постоянно спрашивают: Где деньги? Когда ты побреешься,

наконец? А тебе некогда каждый день бриться: ты пишешь музыку тишины. Из блестящего концертирующего пианиста перевоплощаешься в убогого безработного композитора. И всё. Они уходят высасывать кого-то другого. Ты не смог стать Орфеем даже для себя.

Когда Лера-Вера-Маша – или как там ещё её звали? – ушла, на третий день в память о ней ты включил телевизор.

По каналу «Дискавери» показывали документальный фильм, снятый американцами об Антарктике⁸.

Водолазы ныряли в лунки, как пингины, и летели в ледяной пустоте моря Росса. Длинный луч света выхватывал из темноты невероятной красоты храмы и замки – фиолетовые, зелёные, голубые айсберги. Ни звука, тишина давила, как тонны льда над головой. Водолазы не пользуются страховочными канатами, чтобы не стеснять свободу движения. Компасы на полюсах не чувствуют магнитного поля Земли, и потому им придётся самим отыскать дорогу назад. Не смогут найти лунку – останутся под водой навсегда.

Смотрел фильм и думал: это обо мне. Ты думал: мне совсем не холодно, наоборот, мне хорошо! Только ты никогда не нырял без страховки, наверху за тобой постоянно следили, чтобы дёрнуть канат, и ни разу не позволили заблудиться. Тебе даже не давали погрузиться на глубину. Они дёргали канат сотню раз за день. Неудивительно, что у тебя развилась кессонная болезнь. Обертон твоей ненависти. Твой слух настолько отравлен их шумом, что холостяцкого одиночества и покоя уже не хватает. В любую минуту соседи могут врубить электродрель. Мир вокруг – не телевизор, его нельзя выключить или выбрать фильм о живой природе вместо боевика. Ты больше не мечтаешь о молчащей спутнице, тебе нужно, чтобы все голоса разом умолкли.

– Пингины уходят умирать вглубь континента, – рассказывали за кадром. – Закон Антарктики гласит: не стойте у них на пути, не мешайте пингинам.

Куда бы ни шёл пингвин на Южном полюсе, он всегда идёт только на Север. Вперёд и вперёд. Есть вещи, с которыми мы ничего не можем поделать. Никто не знает, как выбираем свой путь, как становимся теми, кто мы есть. Тебе тоже нужно уехать на Север. Туда, где царит безмолвие льдов, и даже ветру не за что зацепиться. Абсолютная тишина, абсолютное счастье, совершенная музыка.

– Изольда, ты услышишь пение китов. Лучшее из того, что мне удастся сыграть.

И снова: человек никогда не остаётся один. Их сотни, таких же отравленных городами мечтателей, они бегут на экватор, в Гималаи, на Северный и Южный полюса Земли. Тибетские «лагеря молчания» разрастаются по всей планете. Восток очищает Запад.

«Несколько недель тишины – главное приключение вашей жизни. Вы обретёте себя, а значит весь мир», – слоганы в рекламных проспектах.

«В лагере запрещено разговаривать вслух и шуметь», – строгие пункты в памятке для туристов.

Ты продал рояль и всю мебель, сдал квартиру в столице на неопределённый срок. Это цена билета на атомный ледокол из Мурманска в Арктику. Тишина стоит дорого. Одержимые не торгуются. Твой Север, где везде вокруг будет Юг. Дрейфующие льды – живые, как океан Солярис. Космические звуки Луны. Ты играешь на крышке стола, как на рояле, а ноты пишешь в тетрадь – в домике, занесённом снегами по крышу. Ты не знаешь, который час: полярное лето, пять месяцев солнце не сядет за горизонт.

Абсолютное вдохновение. Ты не учёл одного: безмолвие – это путь к безумию.

В рекламных проспектах и памятках для туристов не сказано, что на второй день в «лагере тишины» человек начинает говорить сам с собой, на третий – вслух, со страхом озираясь, не подслушивает ли кто, через неделю говоришь себе «ты», через две

⁸ «Встречи на Краю Света». Вернер Херцог

собеседник материализуется в живое объёмное зеркало. Да, ты сам сейчас несёшь весь этот бред за метровым лагерным забором, словно в тюрьме. Ты сам себя заключил в одиночную камеру, узник. И знаешь теперь, что чувствовала Изольда. И больше ей не завидуешь.

В твоей нотной тетради ровно сорок листов. По листу на каждый год жизни. Они все пусты, не смог записать ни ноты, они – белые, как самый чистый арктический снег. Потому что джаз – это «великая импровизация» мира без кнопок пульта управления. Противостояние, движение, путь, даже если он в никуда. Сама по себе музыка ничего не значит, её суть – вдохновение. Даже виртуозная игра Паганини оставляет многих людей равнодушными. Его музыка, но не судьба.

Раньше ты боролся с миром, слушал его, даже если приходились не по душе многие его звуки. Отталкиваясь от чужих идей, в согласии с ними или в противоречии им находил, открывал, создавал. В шуме вылавливал жемчуг мелодий, как в мутной воде. Но здесь, в Арктике, вода превратилась в лёд. Вакуум – убийца вдохновения. Только подобное рождает подобное. Музыка рождает новую музыку. Шум и чужие звуки её рождают. А в нашей жизни бывают дни и люди, за которых, не задумываясь, отдашь весь свой остров безмолвия. Потому что именно их голоса будут звучать в твоей тишине.

Да, теперь ты знаешь, как поют киты. Посещал в заливе научную станцию.

– В Арктике встречаются касатки, белуги, горбатые и полярные киты. Здесь водится много разновидностей китов.

Но голоса их похожи.

Похожи на детский смех, на пение птиц в больничном парке, на радостный визг во время игры в салочки в залитом солнцем летнем дворе. Ты не открыл ни одного нового звука здесь.

Киты пели:

– Изо-льда.

Не изо льда. Они пели: Изольда. У твоей тишины может быть сколько угодно нот, но только одно имя. Это она смеялась в их песне. Это её музыка. Её смех, который ты не услышал.

Москва, октябрь 2010

ART DE VIVRE

*На сцене театра мы играем собственные жизни.
(Антонен Арто)*

АКТ I

Я знаю: он придёт сегодня. Как и вчера и позавчера, и завтра и послезавтра. Он всегда будет рядом. Стоять за кулисами. Наверно, у каждого актёра есть свой демон за сценой. Видела его лишь раз: в детстве. Удержал меня от падения: в ярком свете рампы не заметила края. Взглянула в лицо в чёрных разводах грима и поняла, что это маска того, кто не был и не может быть человеком. И что его, кроме меня, больше никто не видит. Потом он и ко мне стал являться незримо. Но всегда чувствовала присутствие за спиной.

Мой отец – театральный режиссёр, мама – ведущая актриса в труппе. Не трудно догадаться, что училась ходить я сразу по сцене. Сначала были «немые» роли детей во взрослых спектаклях, потом первые слова в детских спектаклях, потом взрослые слова и главные роли. Я выросла актрисой. И никогда не желала (да и не знала) другой судьбы. И если вы думаете, что свободны от пути ваших родителей, то вы ошибаетесь. Так или иначе, ваша дорога станет продолжением их собственной, ваши мечты – их несбывшимися мечтами. И как сказал Вольтер: «Земля – это огромный театр, в котором одна и та же трагедия играется под различными названиями». Из поколения в поколение, из века в век.

– Стоп-стоп-стоп! Мелисса, ты играешь мать, а мне нужна любовница. «Медея» – это история мести. Ты – убийца, а не загнанная в угол жертва!

Медея... Сыграть её грезит каждая актриса. Роль, которая позволит расправить крылья таланта и ... взлететь. По-настоящему взлететь! В ней кроется сила, которая движет пьесу, толкает вперёд повествование. В большинстве пьес женщина – всего лишь объект желаний мужчин, «гордиев узел», который им предстоит разрубить. На сцене, как и в жизни, главные роли принадлежат мужчинам. Но только не в «Медее». Она будет рубить сама. И я – тоже.

– Есть и другие прочтения: Медея убила детей, тем самым освободив их. Они верили в жизнь после смерти.

– К чёрту все эти новомодные прочтения! Я буду ставить только классику. У Еврипида всё однозначно. Мне не нужен театр, мне нужна жизнь внутри рампы. А жизнь – жестока! Классики это понимали. Я не хочу, чтобы зритель был счастлив на премьере, пусть рыдают, выходя из зала!

Рыдающее божество... Многоликое, чтобы видеть и слышать, многорукое, чтобы аплодировать, великодушное, чтобы внимать. Великодушное, но не всепрощающее. Иногда оно смеётся, иногда плачет. Иногда ёрзает на стульях, хлопает дверями и говорит по мобильному. Но никогда не молчит, всегда есть реакция. Поэтому так часто можно услышать за кулисами: «хороший зритель», «плохой зритель» – в единственном числе. Зрители в зале – единый организм, который, повинуясь моему голосу, вдруг замирает, и я чувствую, что мы дышим в такт. Это и есть божественное прикосновение. Открытые двери Рая.

Ненавижу репетиции! Мне нужен зритель! Его поддержка, его отклик. Всегда чувствую, что сделала не так, по вибрации зала. Это необъяснимая связь. Энергетика. Пустой зал – глух и нем, как покинутый богами Олимп. И только пыль струится в воздухе. И многочисленные прогоны: снова и снова, одной и той же сцены, пока голос и пластика движений не будут отточены до автоматизма заводной куклы. В кино у актёра есть лицо. Можно играть глазами, мимикой, можно молчать в камеру, а закадровая музыка компенсирует страдания. И зритель поймёт. Магия киноплёнки. В театре все носят маски из грима, и есть только голос и меткие стрелы жестов. Это уже не игра, а как любит повторять Джейсон – жизнь внутри рампы. В реальном времени. Здесь и сейчас. Маленький промах может привести к большому провалу. Скуку и фальшь божество не прощает.

Джейсон знает это и потому злится и гоняет меня по сцене. Сколько раз я уговаривала его взяться за постановку «Медеи». Для меня. Мне нужна была настоящая роль. Наконец он сдался. И теперь у меня ничего не выходит.

Да, именно так. Пробиешь снова и снова. До изнеможения, до потери голоса, сил и души. А если не получается, садишься на пол в гримёрке и плачешь. А наутро начинаешь всё заново. И лишь премьера приносит облегчение. Мир сжимается до размеров сцены, где живёшь и дышишь, чувствуя долгожданное слияние с Богом в зрительном зале. Проникновение друг в друга. Аплодисменты! Цветы...

– Все свободны. Сегодня ничего не получится. Завтра начнём с твоего выхода.

Если голос Джейсона смягчается, значит, всё совсем плохо. Когда мы близки к успеху, он орёт, как раненный медведь, из центра зала. Кажется, что старая хрустальная люстра под потолком не выдержит звуковой вибрации и рухнет ему на голову.

У нас с ним всегда всё получалось. Он приехал в Лион в канун Праздника огней. Начинаящий, но уже известный в Париже режиссёр. Не знаю, кто ему порекомендовал заглянуть в театр к моему отцу, но я сразу поняла, что Джейсон увезёт меня в Париж. Во время репетиции смотрел только на меня. Такие взгляды в кино снимают на крупных планах. Их чувствуешь кожей. Лёгкое жжение, несколько вольт электричества. Кровь растекается тёплой болью по венам.

– Смотрю на тебя, как на солнце, – говорил он потом, и я верила, что он, как зеркало, отражает мой собственный свет. Его взгляд лучился.

Мой отъезд отец принял молча, без лишних эмоций. Понимал, что Театры Больших бульваров и набережные Сены – лучшее, что со мной может случиться в жизни. Счастливый билет в культурную столицу из города варваров-шелкопрядов (так, усмехаясь, называл нас, лионцев, Джейсон). Но в глубине души знала, что мы с отцом больше никогда не будем близки, как раньше. На свадьбе не произнёс ни одного тоста в честь молодожёнов, на рождение дочери прислал несколько строчек в поздравительной открытке. Когда Софи исполнилось два, я вернулась на сцену. В тот год мы взяли мраморный бюст Мольера⁹, и Джейсона пригласили ставить спектакли в Комеди Франсез. Газеты трубили о нашей победе по всей Франции, но отец молчал. Он не мог не прочесть. Он всё знал, но даже не позвонил. Может быть, в тайне ото всех и главное – от себя – гордился мной, но какое-то глупое упрямство не позволяло ему простить мне выбор в пользу Джейсона. В любом случае в Лион решила не возвращаться.

– Мелисса, заберёшь Софи из школы? У меня сегодня ещё два прослушивания на вечер.

– Да, милый.

После репетиции зашли перекусить в кафе. В последнее время Джейсон часто смотрит мимо меня. Сидит за столиком и ест наше любимое сырное суфле с грибами вместе со мной и одновременно бродит где-то далеко в своих мыслях. Попыталась поймать его взгляд, как раньше. Нет, тоже не получилось. Взгляд – пустой и тёмный, как молчащий зал. Неужели и у меня внутри уже давно всё покрыто пылью?

Саксофонист у входа в парк Монсо заражает осенний воздух вирусом неизлечимой тоски. Словно хоронит кого-то. Странно, что и саксофон люди изобрели благодаря «бронзовому быку» – орудию казни афинян. Человека сажали внутрь быка, под которым разводили костёр. Металл накалялся, несчастный плавился заживо, единственной возможностью глотнуть воздуха были трубы к ноздрям быка. Крик узника, проходя через ноздри, превращался в настоящую песню смерти. Духовые инструменты используют тот же принцип устройства, только наоборот. Почему всё прекрасное в мире создаётся на основе нечеловеческой жестокости?

⁹ Самая престижная театральная награда Франции.

Наверно, никто из прохожих об этом не задумывается и даже не знает. Как не знает города, в котором живёт. Мы, жители больших городов, перемещаемся из точки «А» в точку «Б» по одному и тому же маршруту. Риволи – Триумфальная арка – Парк Монсо – Проспект Веласкеса. За почти десять лет жизни в Париже так и не поднялась на Нотр-Дам или Эйфелеву башню. Там всегда нескончаемые очереди туристов. И горгульи скалились на меня с открыток на «вертушках» киосков, разбросанных по всему Парижу.

Софи берёт меня за руку, и мы идём посидеть у маленького пруда, где коринфские колонны. Сегодня не занята в вечернем спектакле, и можем, наконец, хоть немного побыть вместе. Такие прогулки для нас – редкость.

Чуть впереди по аллее прихрамывают в такт старик с биглем на поводке. Нас обгоняет светловолосый мальчишка возраста Софи. Поравнявшись со стариком, он, радостно смеясь, пинает собаку под рёбра. Бигль хрипло взвизгивает и приседает на задние лапы. Старик в замешательстве смотрит на мальчишку, и лицо у него с отвисшими щеками – точь-в-точь как у побитой собаки. Мальчишка, всё так же заразительно смеясь, убегает прочь по аллее.

– Мам, зачем он это сделал? – удивлённо спрашивает Софи.

– Не знаю, малыш. Боюсь, он сам этого не понял.

Я и правда не знаю, почему люди иногда бывают так жестоки. Не ведают, что творят. Вот, кто его научил бить собак? Моя Софи никогда бы не пнула собаку. Она любит собак. И кошек, и рыбок, и попугайчиков. Жаль, не можем завести ей маленького друга. Мы так редко бываем дома! А няне и с Софи проблем хватает, ей только домашних питомцев не достаёт, чтобы уволиться.

Почему-то вдруг вспомнился прошлый Новый год на Елисейских полях. Софи только что исполнилось восемь, и она заявила нам с Джейсоном, что уже взрослая и не будет смотреть салют по телевизору. Шанз-Элизе в новогоднюю ночь становится пешеходным. Огромной площадью, где толпится народ в ожидании грандиозного торжества. Это был наш первый Новый год вне дома. И, надеюсь, последний. Пробыло двенадцать, и вместе с залпами салюта в толпу полетели бутылки с зажигательной смесью. На женщине слева от меня загорелся воротник пальто, потом волосы, она кричала и плакала, закрывая лицо руками. Справа парень сложился пополам от удара железного прута. Осколком бутылки кому-то вышибло глаз. Асфальт под ногами горел. Из толпы мы выбирались по чьим-то телам. Кто-то крикнул, что взорвали метро, и все входы туда перекрыты. Помню, как бежала по близлежащим дворам и улицам, крепко держа за руку Софи. И встречный ледяной ветер хлестал по глазам до слёз. Она потеряла в толпе шапку и шарф, подаренный Джейсоном. Где он сам был тогда? Встретились только дома, наши такси подъехали к воротам почти одновременно. Сказал, что его оттеснила толпа, и потерял нас. Дозвониться Джейсон тоже не смог: мобильный телефон я выронила где-то по дороге.

Утром в новостях сообщили, что взрыв в метро и потасовка на площади дело рук албанцев. Хотя никто точно не знает, кто именно решился калечить людей. На албанцев, наверное, проще списать. А Софи простудилась и заболела. Жар и температура. Я отпаивала её микстурой от кашля. За окном хлопьями падал снег, и выбеленный им Париж выглядел таким чистым и праздничным...

– Софи, тебе не холодно?

– Нет.

Поздняя осень. Колоннада белыми зигзагами отражается в воде. Софи палкой водит по её поверхности.

– Что ты делаешь?

– Листья плывут-плывут. И не могут догнать друг друга. Я пытаюсь им помочь.

Опавшие листья скользят по воде навстречу друг другу вопреки ветру и подводным течениям. Иногда они сходятся, иногда расходятся. Как и люди. Встретятся ли эти два? Да, встретились, разошлись и снова встретились. Но это были уже другие листья. Иллюзия. Игра воображения. Как в жизни, где всегда изображаем кого-то, играем роли,

прикидываемся лучше. Получается, на сцене я изображаю изображения? Играю роль роли? Тогда имею право бояться провала, потому что фальшь – это всегда провал. И не знаю, где заканчивается правда и начинается ложь. Иногда мне кажется, что жизнь – репетиция в онемевшем, покинутом всеми театре. И никто не поможет, даже демон, стоящий за кулисами.

АКТ II

Я препарировать человеческие эмоции. Хочу научиться вскрывать чужие сердца легко и незаметно, тоненьким скальпелем, как консервные банки. Люди в большинстве своём – мазохисты: самую сильную страсть испытывают, страдая, а самую сильную зависимость от того, кто заставляет страдать. К примеру, что такое любовь? Магия, физика, химия? Что притягивает одного человека к другому? Пытаюсь понять, как в человеческом мозгу, теле, сердце, наконец, душе зарождается та или иная эмоция. И почему она угасает. Ответив на эти вопросы, можно изобрести универсальную формулу любви, ненависти, страха... И их великой игры на сцене. Театр – воплощение нашей собственной жизни.

Я ослеп, когда впервые увидел Мелиссу. Яркий солнечный свет, от которого так больно глазам. Мы гуляли, взявшись за руки, по ночному Лиону. Её золотые волосы обладали удивительной способностью притягивать и отражать свет, и тысячи праздничных огней с неба и с фасадов домов сплетались в них в разноцветную радугу, дрожа и играя, как блики на поверхности озера. Смотрел на неё, как на солнце. Мне было всё равно, всходит оно или заходит, красное, жёлтое, оранжевое... Солнце всегда прекрасно, на него смотрят, не отрываясь, даже если слепит глаза. Счастливое наваждение...

Которое быстро прошло. И теперь каждое утро я смотрю, как она одевается, красит ресницы, намазывает масло на булку, ест. Днём вижу, как устаёт на репетициях. Как, чуть коснувшись головой подушки, засыпает по вечерам. Только разделение времени на утро, день и вечер незаметно для меня стало условным: за нашими окнами – полярная ночь. Стоит лишь раз задуматься о чувствах всерьёз, и они замолчат навсегда.

– «Нас, женщин, нет несчастней. За мужей
Мы платим – и не дёшево. А купишь,
Так он тебе хозяин, а не раб»¹⁰.

– Клер, кто надоумил вас читать «Медю» на прослушивании? Знали, что сейчас ставлю эту пьесу?

– Нет. Но мне бы хотелось сыграть эту роль.

Враньё! Конечно, она всё знала и хорошо подготовилась. Закулисные сплетни ей в помощь и на удачу. Удача любит юных, красивых, самоуверенных, никогда и ни в чём не знающих отказа. Удача любит тех, кто верит ей с полуслова. И главное – верит в себя.

– Вообще-то я ищу дублёршу в другой спектакль и не на главную роль.

– Я соглашусь на любую.

Она делает шаг вперёд. Теперь вся в полосе света, вдруг замечаю, что шагает она босиком. Даже не шагает, а легко и нежно касается подошвами пола. У любого нормального мужчины при виде этих почти детских пальчиков сразу возникнет мысль о том, как они тянутся к его ширинке под столом в полумраке кафе.

– Думаете, что колхидская царевна, пусть и беглая, разгуливала босой?

¹⁰ Еврипид. Трагедии. Отрывок пьесы «Медю». Перевод Иннокентия Анненского.

– Нет. Но мне так удобнее играть. Легче двигаться по сцене. Это же всего лишь прослушивание.

Да. Всего лишь. Тогда почему так бешено колотится сердце?

– Джейсон можно прочитать как Ясон, – невзначай роняет за ужином Клер. – Сочетание «Ja» иногда произносится как «Я».

Сидим в кафе на Монмартре, и я смотрю, как чувственно она ест. Слизирует жир с кончиков пальцев. И хочется целовать её руки. Я чувствую голод. И предвкушаю насыщение. На столе так много мясных блюд: сначала куриные крылышки, потом бифштексы с кровью. У Клер хороший аппетит. Как же давно не испытывал удовольствия от еды!

Мелисса всегда следила за фигурой. Я и сам не заметил, как мясо в нашем рационе заменили рыба и грибы. В магазине покупал то, что любила она, в ресторане повторял её заказы. И если спросите меня, нравится ли мне самому сырное суфле, не смогу ответить. Привычка есть заменила мне голод.

– А ваше золотое руно – это «Мольер», который получила твоя жена за лучшую женскую роль, – сообщает мне Клер уже в другом кафе на Монмартре под баранину, тушёную в вине.

О! У нас ещё много было этих кафе на Монмартре, где в полумраке зала можно дать волю губам и рукам, выпустить ласку фантазий из сердца, ненадолго сойти с ума. Она умела культивировать голод и возвращать боль. Знала, что нежность – самая жестокая пытка на свете. Не подпускала меня слишком близко, но аромат переспелой вишни её духов не покидал моих рубашек даже после стирки, а её голос настойчиво продолжал вести всё тот же разговор, начатый с месяц уже не помню в каком из кафе на Монмартре:

– Мелиссу любят в Париже. Я тоже молилась на её фотографию на первом курсе Театральной академии. Но тебе не кажется, что её былой свет померк?

В тот вечер у нас дома собирался весь театральный бомонд, включая критиков. Голоса Мелиссы и Софи – приглушённо из нашей спальни. Что они там делают, почему не проверить, всё ли готово на кухне и в столовой к приёму гостей?

– Малыш, грим вреден для кожи. Если хочешь краситься, я куплю тебе детскую косметику.

– Ну, мам! Я хочу лицо, как у тебя!

У них что, сговор против меня? Через минуту придёт ведущий обозреватель спектаклей Жан де Арно, а дочь носится по дому в театральном гриме, как привидение.

Молча хватаю её за руку и волоку в ванную – отмыть эту гадость.

Софи плачет, грим течёт дёгтем по вычищенной до блеска раковине.

– Зачем ты с ней так? Она же девочка! – восклицает Мелисса из-за спины.

Оборачиваюсь и вижу, что у неё тоже тушь течёт по щекам.

– Так, чтобы через минуту обе умылись и привели себя в порядок. Я пойду встречать гостей к дверям.

Ну что такого я сделал? Что? Ненавижу женские слёзы! Всякий раз происходит одно и то же и в жизни, и на репетициях: не могу, не знаю, как справиться... Ни грим убрать подальше, ни с дочерью своей совладать! Куда ей сыграть Медею, если даже дочери отказать не может? Жестокость не заложена в ней от природы...

– К тому же Медея была брюнеткой... Эй, ты слышишь меня? Я хочу эту роль!

Чёрные глаза Клер – как горящая нефть. Плавись, погружаюсь внутрь. И ничего от меня не остаётся: ни косточки, ни единого вдоха.

– Я люблю тебя!

– А что ты делаешь ради любви?

– Клер, мне больно! Я очень страдаю...

– Этого недостаточно. Нужно действовать. За каждым словом стоит смысл, обещание, которое необходимо сдерживать, надежда на будущее. Если в словах этого нет, они становятся пустым звуком. Тишиной. Молчанием. Хотя и в молчании тоже должен быть смысл. Мой поцелуй может стать молчанием. Твоё согласие может им быть.

Никто и никогда не будет любить нас так, как нам этого хочется. В реальности всё происходит иначе, чем это виделось в грёзах. Неутолённое желание перерастает в физическую боль. И вдруг думаешь: «Нам так мало дано на этом свете, но мы и того не используем! Тратим душу на мелочи, на тех, к кому уже давно остыли».

Нет, нужно жить на пределе, так, словно кровь и плоть пожирает смертельный вирус, словно весь город горит и тонет в объятиях чумы. И всё, что тебе остаётся – жадно выпить последние капли чистой воды из фляги жизни. Иначе пустыня раздавит, и сам станешь песчинкой, гонимой ветром вперёд и вперёд без цели и смысла.

Искусство создаётся больным сознанием. Театр не может быть развлечением. Он должен переворачивать душу. Менять жизнь. Хирургическая операция: вырезать опухоль лжи из сердца. Обнажённые чувства, откровение, после которого зритель из зала выходит уже другим человеком. Да! Нужно ампутировать страх! И действовать вопреки всему, потому что всякое действие всегда происходит за счёт кого-то другого, всякое действие причиняет боль, а значит, жестоко. Не жесток только полный покой...

Но я не хотел покоя. Монмартр переводится как «холм мучеников»¹¹, здесь в III веке римляне казнили первого парижского епископа Дионисия. Это имя дословно означает «посвященный Дионису» – греческому богу вина и удовольствия. Дионисию отрубили голову, он подобрал её с земли и так спустился до подножия холма. В месте, где упал замертво, забил источник и распустились прекрасные цветы...

Цветов я не дарил Клер ни разу, зато теперь вместо букета в руках нёс ей свою голову. Клер поступала со мной жестоко, и роль Медеи была для неё.

Боже, что я наделал! В нашей с Мелиссой постели! Что я теперь ей скажу?

Дорогая, ты устала, ты не сможешь сыграть. Возьми дочь, съездите отдохнуть на Атлантику? И как мы будем жить после премьеры, когда всё закончится? Да и закончится ли?

А если Мелисса откажется уезжать?

Какой демон в меня вселился?

АКТ III

Я хочу на Атлантику! Длинные песчаные дюны Довиля, тёмный мрамор волн, тяжёлое молчание горизонта. В Рождественские каникулы на побережье тихо, но не безлюдно и не одиноко. Океан – живой, он будет вздыхать с тобой вместе, Мелисса. И вскоре почувствуешь себя лучше. Мы будем ходить взад-вперёд по пляжу, пока боль внутри не утихнет.

Боль, которая всё вокруг приводит в движение, а стены дома превращает в клетку, где ты мечешься, как загнанный зверь. Ни на минуту не можешь присесть, потому что только на ходу боль затихает. Бродишь по дому кругами всю ночь до рассвета, но нигде не

¹¹ *mons martyrium*

находится места. Прихожая – кухня – гостиная – библиотека – спальня – детская – столовая – ванная... Ребёнок спит, ты бродишь. Отпечатки чужих пальцев на зеркалах – чужой запах на простыне – звон тишины в ожидании шагов, которые не прозвучат в назначенное время, лишь под утро и с примесью тех, других. А потом прикидываешься слепой, надеваешь маску радости и благополучия, играешь роль роли, изображаешь изображение. И не знаешь, где заканчивается правда и начинается ложь. В твоём доме землетрясение, и я слышу, как молчаливо рушатся стены. Тебе негде остаться и некуда больше идти.

Мелисса, твой демон устал, и ты – тоже! Вспомни, когда отдыхала в последний раз? Чтобы не нужно было считать закаты, потому что их не три и не пять, и они все – твои? Чтобы сидеть за столиком в кафе и от безделья и скуки обсуждать прохожих?

Как же мне надоел ваш театр! Нескончаемая игра слов, ситуаций... Даже летом не отдыхаете, а ездите на гастроли. Я устал! Я хочу настоящей жизни. Той, где не будет кулис!

Он тоже придет на побережье один с ребёнком, мальчиком возраста Софи. Дети подружатся, а вы будете смотреть, как солнце садится за океан, пока они играют в полосе прибоя. Ночью можно выключить свет, и тебе не придётся закрывать глаза. А днём попросишь его помолчать. Или станете обсуждать изысканность блюд из свежих морепродуктов, выложенных на подносе со льдом в мозаику, напоминающую по форме цветочный узор. Он поможет тебе излечиться. Как фонари вокруг вашего маленького отеля вбирают солнечный свет днём, чтобы ночью излить его в темноту сада. А дальше я придумаю для нас с тобой новую жизнь.

Я смогу доказать тебе, что любое чувство – совершенно. Идеальная любовь исцеляет, идеальная зависть помогает расти над собой, идеальная ненависть учит искреннему прощению. Не совершенны люди, которые не способны управлять совершенными чувствами. Вы – как дети, впервые в жизни очутившиеся за штурвалом космического корабля, летящего прямо на солнце. Или за рулём гоночной машины, мчащейся с выключенными фарами по ночной трассе со скоростью триста километров в час, не зная, где «газ», а где «тормоз». Маленькие жестокие дети калечат других и себя, а потом пачками глотают анальгетики до полной остановки сердца.

Ты предала отца ради Джейсона, а потом Джейсон предал тебя. Вас всегда предают те, кому верите больше всего. Вас легко соблазнить славой, вы так падки на удовольствия. Это потому что обладаете телами, физическими оболочками, которые нужно кормить, обеспечивать всем необходимым, и на которые можно смотреть, не отрываясь. Вы чувствуете жажду, тепло и боль. Вам одиноко, если кто-то постоянно не держит вас за руку. Объясняете свои чувства через физическое состояние. И так увлечены своим телом, что лишились души. Меня же не видит никто, и потому у меня есть ответы на ваши вопросы. Если бы я мог говорить вслух, выйти из тени кулис!

Но я – нем, и ты не слышишь меня. Иногда мне кажется, что любовь – это внутренний диалог, который не смолкает ни на секунду. Даже если моё «я всегда буду рядом» звучит для тебя, как приговор.

Нет, ты не слышишь меня. Ты решила учиться жестокости. И я снова вынужден стоять за кулисами. Быть буфером между вами и «бронзовым быком» ваших страстей, в чьём брюхе плавиться заживо. Буфером, который не даст выплеснуть песню смерти в зрительный зал. Богу в лицо. Потому что сами не знаете, что за трагедию вам предстоит сыграть.

Чей там крик в гримёрной? Клер надела сандалиии...

Генеральная репетиция – прогон в древнегреческих костюмах. Аккуратно вшитое в подошву лезвие. Старый балетный трюк, но и для драмы сойдёт, главное знать, как зашить. Bravo, Мелисса! Не ожидал от тебя такой остроты! Теперь она с месяц не сможет разгуливать босиком ни по сцене, ни по твоей спальне. А премьера сорвётся. То, что это

сделала ты, доказать не сможет никто: Клер с её «детской непосредственностью» успела нажать себе много «доброжелателей».

Сколько крови! Клер падает на колени. В гримёрную входит Джейсон. Как нежно берёт её на руки! И его рубашка – тоже в крови.

Не плачь, Мелисса, тебе не придётся больше отстирывать ни её запах, ни её кровь. За твоими окнами багровый закат. Жуткий призрачный Париж. Такого заката ты не видела никогда: солнце в тумане, красное в белом.

– Мама, смотри! Закат, как вишня в молоке!

Ты открываешь окно. Софи счастлива: теперь она может смотреть на закат не сквозь запотевшее стекло, а сквозь прозрачный ледяной воздух, предательски проникающий в комнату.

Знаешь, что Софи опять заболит. На этот раз тяжело. Клер придётся разжать объятия. И Джейсон вернётся домой. Связь отца с ребёнком сильнее страсти на стороне, и ваши руки встретятся вновь над кроваткой дочери. Ты усвоила урок и хорошо подготовилась, продумала всё до мелочей. Теперь театр жестокости и твой театр тоже. И у вас впереди ещё будет много премьер. Только сможешь ли ты играть после всего? Думаю, сможешь.

Но уже без меня. Я уйду. Тихо и незаметно. Ты не услышишь моих шагов. Я устал, у меня больше нет сил. Я хочу жить. Потому что жить – значит быть сильным и прощать слабость с позиции силы, а не за счёт невинных сердец. Потому что жить – значит быть выше жестокости и не отвечать ударом на удар.

Потому что жить – это тоже искусство.

Опустите занавес!

Москва, июль-август 2009

МЕНЯ ЗОВУТ КЛЕО...

– Ваше имя? Не земное. Там вас зовут иначе.

– Клео. Меня зовут Клео...

На сеанс регрессивного гипноза ко мне пришла женщина, лет тридцати пяти.

– Что вы хотите вспомнить из прошлых жизней? – спросил её.

– Я – ничтожество!

Тонкие губы перевёрнутым полумесяцем.

Видел её машину из окна. Ничтожества на таких не ездят.

– И я не понимаю, почему это так. Чувствую где-то глубоко-глубоко внутри. Не могу смириться. У меня семья, сын в первый класс пошёл. Это мужчине нужно быть героем, чтобы жизнь удалась. Женщине позволено сказать, что у неё есть или будут дети. Но мне этого мало. Важно оставить что-то после себя. Может, я была кем-то более значимым, может, он не закончил «дело всей жизни»?

– Вы работаете?

– Да, я фотограф. Глянец.

Вот почему её лицо сразу показалось знакомым. Фотограф и весьма успешный. Мода в столице – всё, или почти всё. В газетах, журналах, по телевидению сплошь интервью с Олимпа: дизайнеры, фотографы, визажисты, модели... Учат и учат нас, нет, не красоте, выдуманной ими красотой. Никто не замечает подделки, богам привыкли верить.

– Я буду считать до трёх. На счёт три вы вспомните самый важный момент вашей жизни. Мы будем возвращаться назад в прошлое в пределах одной жизни, потом шагнём за её пределы. Раз, два, три. Где вы? Что вы видите?

– Я в Тунисе. Море. Длинный пляж. Солнце в воде. Всё залито светом. Чуть дальше по пляжу крепость-мечеть и кафе у её стены. Сажу в кафе, ем мороженное и смотрю на море. Ничего не происходит, но всё вокруг наполнено смыслом: каждый звук, запах, цвет. Слишком яркие краски. Слишком яркий свет. Больно глазам. Больно... Мне очень больно.

– Тогда отпустите всё, что случилось, сколь бы важным вам это ни казалось. На счёт три мы пойдём дальше. Раз, два, три.

– Абхазия. Горная река. Изумруд травы и деревьев. Всё сверкает на солнце. Ветка над водой повторяет изгибы реки.

– Что для вас сейчас важно?

– Это картина. Но я – не художник. А фотография – лишь осколок немого беспристрастного зеркала. Ощущение счастья, поймать бы его, унести с собой! Сбереечь. И ощущение потери, потому что время невозможно остановить. Живое не сохранить в мёртвом. Это больно.

Слёзы текут по щекам. Аккуратно промокаю её виски и щёки салфеткой. На сеансах часто плачут. Люди всегда плачут о сокровенном. Освобождается подсознание. Я не знаю, где в человеческом теле обитает душа, но сейчас говорю именно с ней. Наши души редко смеются, редко бывают счастливыми на земле. Жду, пока она успокоится, и прошу идти дальше.

– Где вы сейчас?

– Мне пятнадцать. Старый парк аттракционов. Сбежали с уроков с подругой, лежим на траве и смотрим в небо. Небо высокое. Кажется, пью его синь глазами, кажется, я лечу.

– Что общего в этих воспоминаниях?

– Их не получится передать кому-то ещё, поделиться. Это как изобретать эликсир бессмертия, который есть в каждой цветке на планете, но невозможно добыть экстракт. Несуществующая формула счастья. Мираж. Что-то подобное есть в картинах Сезанна: белые облака отливают синим, спрятанным ими небом, в зелени листьев заперто красное заходящее солнце. Это не пейзажи, а взгляд на них, слепок мыслей и чувств самого художника.

– Вы пробовали учиться живописи?

– Нет. Но я около года изучала её историю в Университете фотографии.

Пауза. Долгая пауза. Снова промокаю уголки её глаз салфеткой.

– Вам что-то вспомнилось?

– Да. Мой преподаватель. Он был уже стар, но на его лекции никто не опаздывал. Никогда не рассказывал нам историю той или иной картины в отрыве от биографии художника. Из его слов выходило, что большинство великих картин обязаны своим рождением случаю, моменту, какой-нибудь совсем незначительной мелочи. Картины как подарки вечности. В тот день я пришла на лекцию раньше всех. Он стоял у окна и смотрел на дождь. Ключ от аудитории пока не вернули, и мы решили подождать в коридоре. Унылая осень с нескончаемыми дождями за окнами. Он сказал тогда, что мелочи не только создают картины, но и разрушают жизнь. Представь себе, сказал он, пятница, вечер, мужчина идёт домой, думает, выпью пива, думает, отдохну. Но вдруг понимает, что от себя отдохнуть не получится. Когда-то он был подающим надежды художником, но всё изменилось после того, как увидел птицу, лежащую на траве. Так не бывает, если она не больна, не мертва, – говорили ему. Бывает, – отвечал он, – возможно, ей разонравилось быть птицей, возможно, она видела себя кошкой или кем-то ещё. Здоровая, красивая птица, лежащая на траве, стала лейтмотивом его картин. Знал, что не примут в Союз Художников, знал, что жена изменяет с тем, кто рисует лошадей на скаку. Люди не любят тех, кто не вписывается в общий пейзаж, даже абстракция всегда имеет

логическое объяснение. Он больше не пишет, не любит, не ждёт. Совершенно один, как его птица, которой захотелось растянуться кошкой на траве. Я чувствовала, что говорит он сейчас о себе. Мне было нестерпимо жаль его, хотелось помочь, но не знала чем. Вот так иногда бессмысленно проходит жизнь, сказал он напоследок и замолчал. Дождь продолжал мыть окна.

– Вы уже вышли за пределы личного восприятия, теперь можете отправиться в жизни других. Представьте себе дерево, вы сидите на ветке, но вам нужно от кроны спуститься вниз по стволу к корням. Спускайтесь медленно и осторожно. Что вы видите?

– Я сижу под деревом. Смотрю на зелёное поле, за полем замок, выложенный красно-белым камнем, с башнями. Ветер качает траву, словно волнуется море.

– Кто вы женщина или мужчина? Вы живёте в замке? В каком вы времени, веке?

– Мужчина. Мне лет девятнадцать. Да, замок – мой дом, фамильное поместье. Похожие замки в наши дни сохранились в долине Луары. Франция, наверно, век восемнадцатый. Точно не знаю. Знаю, что во внутреннем дворике замка круглой формы фонтан со статуями, и около него сейчас остановилась карета. Гости съезжаются на званый ужин. Я не хочу туда возвращаться, мне скучно с ними. На стенах в зале вместо картин висят зеркала в увесистых позолоченных рамах. Неужели им нравится повсюду видеть свои отражения? Людей и так много в замке, к чему создавать двойников? Мне же нравится ветер, что ласкает траву. Ветру не нужен дом. Я подражаю ему, лаская лошадей: грива шёлком течёт и вьётся сквозь пальцы. Я люблю лошадей.

– Чем вы занимаетесь в этой жизни? О чём думаете?

– Не знаю. Кажется, ничем и ни о чём. Всё, что мне нужно, это поле и лошади.

– Хотите увидеть её итог?

– Да.

– Представьте, что умираете.

Пауза. Салфетки? Нет, не понадобятся.

– Я в том же замке. В комнате темно. Я – седой старик, лежу на широкой кровати, две свечи горят в изголовье.

– Что вы чувствуете?

– Ничего. Ни боли, ни страха. Жду, когда всё закончится. Ждать надоело.

– Есть мысли о том, какой была эта жизнь?

– Бесполезной. Я ничего не делал и не сделал. Только смотрел, как ветер волнует траву. Но это было красиво. И мне казалось, что я один мог это видеть. Больше никто.

– Жизнь-созерцание. Теперь попробуем перейти к действию. Вы летите назад, дальше и дальше. В другую жизнь. Кем вы себя видите?

– Темнокожим. Южные острова. Нас четверо, мы тащим к воде пирогу. Ночью она перевернётся, мы все утонем.

– А сейчас день?

– Да, мы выходим в море рыбачить. Но я знаю, что к ночи начнётся шторм, и мы не успеем вернуться.

– Вы помните свой последний день?

– Нет. Я уже вижу ночь. Мы – в воде, над нами купол лодки, наполненный воздухом. Самодельный фонарь – огонёк, закрытый с четырёх сторон пластинками из дерева от ветра, – плавает на поверхности воды и не гаснет. Мы уходим под воду, в темноту. Странно, мы – рыбаки, почему же никто из нас не умеет плавать? Свет всё дальше, вода разрывает лёгкие изнутри. Всплываю наверх, словно по воздуху. Поднимаюсь над водой, подсвеченный огоньком горб пироги ещё качается на волнах. Лечу выше, к звёздам, извиваясь в полёте, как дракон или воздушный змей. Мне легко.

– Белый свет впереди видите?

– Да.

– Попробуйте попасть в воронку белого света. Вы там одна?

– Да, я внутри.

– Как ваше имя?

– Клео. Но никто не зовёт меня по имени. Меня не ждут здесь. Мне будто уже всё объяснили, а я, как ребёнок, не верю и продолжаю спрашивать почему-почему-почему. Находясь внутри света, ищу доказательства его существования. Как в моём повторяющемся сне, где смотрю на море, на солнечные блики, пляшущие на поверхности воды. Знаю, что вода прохладная, хочется освежиться, войти в неё и поплыть, но почему-то всегда остаюсь на берегу. Не решаюсь.

– Море – это жизнь. Где ты в нём, таков ты и в жизни: на берегу, вплавь, на корабле или под водой.

– Почему я не могу войти в воду? Почему рыбаки не умели плавать?

– Спросите себя. Задайте вопрос в пустоту белого света.

– Семь цветов мира или радуга вместе сливаются в белый. Вот почему так больно глазам. Моменты времени, в которые стучится вечность. Необъяснимые приступы счастья от её созерцания. Дар видеть белый свет. Не знать, но чувствовать, что он есть. Француз ничего после себя не оставил, но видел поле так, как его видит ветер. Рыбак знал, что утонет, но без страха вышел в море, а на последнем вздохе запомнил мерцающий огонёк над водой. Они оба видели что-то над миром. Я это вижу. Но никогда не смогу выразить, передать кому-то ещё. Будь я художником, пришлось бы выставлять на суд зрителей белые пустые полотна. И каждый смотрящий испытывал бы свою встречу с вечностью. Или не видел бы ничего.

Салфетки кончились. Слезы на белой коже казались каплями молока.

Москва, август 2010

СКВОЗЬ АСФАЛЬТ

*The drama is inside us, it is us
(«Libera me». Alex Majoli)*

Я могу написать тысячи слов. Ты не вернёшься. Я могу дать обет молчания. Ты всё равно не вернёшься. Дождливый, промозглый ноябрь. Как же в нём неуютно! Одной. Без тебя. Ты не найдёшь меня. Не увидишь. Я заблудилась в ночных переулках-оборотнях и не знаю, ни куда, ни что дальше. Фонари не горят, и приходится идти на ощупь в вязкой темноте. Вздрагиваю от звука своих же шагов, подворачиваю ногу, падаю. До ближайшего проспекта далеко, как до рассвета. Но денег на такси нет, да и не возьмёт никто с разбитыми коленками в порванных колготках. Плохо, что посветить нечем: зажигалка покоится на дне лужи шагов сто назад. Есть ещё спички. То есть одна. И стена. Шершавая. Можно чиркнуть спичкой о стену, прикурить и осмотреться. Но никто не будет целовать царапину на стене, даже если Джон Фанте¹² – мой любимый писатель.

Ты не чувствуешь, не помнишь меня больше. Ты не вернёшься.

– Есть место на Земле – Полинезийские острова Лайн, где время обгоняет нас на целые сутки. (В кадре – карта с часовыми поясами, крупным планом – флажок

¹² Романтическая сцена из романа «Дорога на Лос-Анджелес».

в маленькой точке в Тихом океане). Там люди живут в нашем завтрашнем дне. Провожают солнце раньше всех и вечно сожалеют об упущенных возможностях и несбывшихся мечтах. Простившиеся, но не прощённые. И если бы можно было остановить время, то только там, на закате. И тогда они всё бы успели. И мы тоже. Как тебе такое начало?

– Круто. А кем я буду?

– Фотографом, как и хотел.

– А это достаточно романтично? Может, лучше писать стихи?

Летний Камергерский, кафе, солнечные блики в бокале красного вина. Ты торопливо подсел ко мне за столик, раскидав по нему листки с детскими закорючками. И торжественно, на выдохе произнёс:

– Хочу снять фильм о своей жизни! А ты поможешь мне написать сценарий.

Тебе двадцать пять, и ты слишком наивен, если думаешь, что кому-то будет интересна твоя жизнь. Или мне нужно придумать её тебе интересной? Жизнь искателя и романтика? Конечно же, вслух я этого не говорила. Сегодня пишем уже пятую версию.

...Ты стоишь на крыше небоскрёба, вглядываешься в тревожное море ночных огней, выпитываешь звуки никогда не спящего города. «Нет, ты не Байрон, ты другой»...

...Ты влюблён в девушку с обложки журнала «Vogue», которая между ботоксом и педикюром пишет стихи...

...Ты мечтаешь о далёких островах будущего, куда в финале вы с ней уезжаете остановить закат твоей волшебной камерой, чтобы люди могли жить и любить друг друга вечно...

Сценарий твоей жизни... Самому не смешно? Может, лучше поедим мороженого и погуляем?

Расплавленная Москва, асфальт тает под ногами, мороженное – в руках. Пыль, духота. А у тебя широко распахнутые карие глаза и загнутые ресницы, как у оленёнка Бемби в мультиках, и белые сладкие капли на рукаве. Наверное, умеешь удивляться.

– Сколько фильмов снято по твоим сценариям?

– Нисколько, никому они не нужны. Десять отказов в почте от ведущих кинокомпаний. И один – от самого Щербакова. Могу распечатать и повесить над рабочим столом как переписку с великими.

– А мне понравилось про убийцу. Мрачно. Но лихо закручен сюжет. Может, он не понял, кто убил?

– Цитирую дословно: «Настоящий художник способен увидеть драму в скучной жизни соседей по лестничной клетке, а убийц нам своих хватает».

– И поэтому ты согласилась писать для меня?

Ты случайно набрёл на мои опусы в сети и завалил письмами. К каждому прилагалась фотография одного из моментов твоей жизни. Не знаю, что именно меня так тронуло в них: эмоции, постановка кадра или как раз то самое пресловутое «умение видеть», но мы встретились.

– Я – скучный? Только честно...

Зря всё-таки согласилась.

«Мой печальный цветок в пыли, ты – великий город. Видишь, я здесь, на твоих улицах. Прими же меня! Дай мне частицу себя!»¹³ Лучшие city-stories созданы теми, кто понимает, что фраза «город – возможностей» означает не материальный достаток, а возможность выбирать и проживать тысячи жизней. Я была танцовщицей, секретаршей, менеджером, разработчиком туристических маршрутов на край света, где, конечно же, ни разу не была, дизайнером, сценаристом рекламных роликов, неудавшимся киносценаристом. В одном городе за несколько лет. Неудивительно, что так сильно

¹³ Джон Фанте. «Спроси у пыли» (цитата нарочно не точна, по тексту «цветок в песках»)

люблю Москву и хочу написать об этом. Так дай же мне, о великий город, хоть одного персонажа, который будет проситься на киноплёнку, в записную книжку, в сценарий!

Проспект. Люди идут нам навстречу, мимо, сквозь нас, пёстрой толпой из ниоткуда в никуда. Туфли, сумочки, пиджаки, тёмные очки. Армия безликих. Миражи расплавленной солнцем пустыни. А Москва – город-призрак. Она так быстро меняется, что не успеваешь понять её суть. Эклектика и многоликость, как на рекламном плакате «Город – единство непохожих» (всегда искала на нём цветок, похожий на меня). Стекланные высотки проспекта скрывают за собой узкие улочки с историческими фамильными замками и деревянными, покосившимися домиками; кто-то выходит из BMW в спортивном костюме, а кто-то из метро в маленьком черном платье; каблуки ломаются о брусчатку, кеды липнут к перегретому асфальту. Лица отражаются в витринах, ускользают, сливаются в потоке теней застеколья. Никто никому не смотрит прямо в глаза. Москва похожа на женщину, у которой слишком много мужчин, потому что каждому из них она дарит то, что он ждёт больше всего. По ней тоскуешь, даже если она спит на твоём плече, ведь по-настоящему твоей она никогда не станет. Будет со всеми и ни с кем, будет разной. Любит саму любовь, а не человека, кто зажжёт её, чиркнув спичкой. Москва принимает всех, переваривает и растворяет в безликой толпе, и потому здесь так сложно найти героя.

– Город – это люди, которые в нём живут. Всегда мечтала сочинить что-то вроде «Москва, я люблю тебя»¹⁴. Может, тебе останавливать закат на крышах города? Я, конечно, нашла для тебя острова в Тихом океане, но звучит это неубедительно.

Бывает, в нашей жизни появляются люди, рядом с которыми постоянно задаёшься вопросом: Что я делаю здесь с тобой? Мне дорого моё время, чтобы тратить его впустую. А потом они вдруг уходят, и вся жизнь превращается в: Что я делаю здесь без тебя? Если хочу быть с тобой и только с тобой. Ты стал для меня таким человеком. Мне всё чаще снится ...

Июль. Один из тех немногих выходных дней, когда весь город уехал на дачу. Тишина и пустые трассы. Закат захлебнулся в жёлтом тумане. Снова горят торфяники. Дым крадётся между домами, словно пытается захватить весь мир. Горизонта больше нет. С крыши проспект напоминает апокалиптический мир из очередного киношного блокбастера. Кажется, что рекламные щиты отражают проспект, как зеркала.

– Да... В таких декорациях снимают кровавые битвы, а не сцены любви. Но можно хотя бы репетировать. Придумала слова, которые должен сказать тебе? То есть ей?

Стоишь у самого края крыши и смотришь вниз. Мне страшно даже пошевелиться. Где-то читала, что страх высоты есть обратная сторона стремления к совершенству. Страх падения, страх ошибки. Знаю, что нельзя всегда быть на высоте. Но мне всё давалось легко, всё получалось. С тех пор, как выиграла конкурс сценариев, и на Первом канале вышел мой рекламный ролик, мир изменился. Мне говорили: «Давай! Ты – талантлива». И я поняла, что хочу большего: писать для кино. Но творчество совершенно иной путь. А с тобой мне было не по пути, не получалось.

– Ты хочешь собрать всех женщин в одном лице. Так не бывает. Слова, которые скажешь одной, нельзя повторять другой – не поймёт, не услышит. Не может фотомодель сочинять стихи, образы жизни разные. Выбери одну из них. Тогда я напишу именно те слова, – им поверят и она, и зрители.

¹⁴ Киноальманахи (о Париже, Нью-Йорке, Москве) – судьбы людей, живущих в мегаполисе

– Но это же кино, а не жизнь. Я хочу снять такой фильм, чтобы миллионы девушек и юношей, посмотрев его, научились мечтать. Не нужно показывать жизнь, как есть, её можно придумать. Не важно, какой пастой чищу зубы. Важно, как буду улыбаться в кадре.

– Только в Каннах, куда ты так рвёшься, в кадре как раз зубы чистят. А в сказки больше никто не верит.

– Тогда это уже не искусство. Потому что искусство – это красота.

– Да? А ты знаешь, как оно родилось? В каменном веке рисовали животных на стенах пещеры и метали в них копья, чтобы охота была удачной. Люди поверят твоей мечте, если она будет реальной. Я своих убийц писала по колонкам криминальных хроник в газетах, сценарий не приняли. Ты совершаешь ту же ошибку. Щербаков прав, настоящая драма всегда разыгрывается на лестничных площадках самых обыкновенных домов. Первый шаг ты сделал: отказался от островов в океане. Теперь осталось выбрать девушку не с обложки журнала, а ту, что рядом, ходит по тем же улицам. Расскажи мне о ней.

Ты глубоко вздохнул и замолчал надолго, и тогда мне вспомнился Фанте:

«Что касается вашего вопроса о знании жизни в целом и женщин в частности, у писателей, как правило, гораздо меньше жизненного опыта, чем у прочих, по причине того, что быть в двух местах одновременно невозможно. Или вы сидите перед пишущей машинкой и работаете, или вы активно живёте и набираетесь опыта. Поэтому раз вы имеете потребность писать, а для того, чтобы писать, необходим жизненный опыт, вам стоит научиться обходиться малым. Добиваться многого, исходя из малого, – это и есть формула писательского труда»¹⁵.

– Хочешь читать мои книги? Бери. Только не разгибай уголки страниц. Иначе я забуду, что думала при чтении. Мысли – как птицы, стоит разогнуть страницу – улетят.

Через неделю ты вернул мне книгу, добавив в ней своих «уголков».

Мы решили начать с малого: собирать твои воспоминания по капле, как дождевую воду, чтобы смешать правду и вымысел в напиток романтики.

Шли дни, шёл дождь. Мы часами сидели на твоём балконе, пили чай с кардамоном и разговаривали. В нашем городе миллионы окон, и в каждое из них стучалась потеря. Но трагедия всегда случается только с нами, иначе это как бы миф, в который не веришь. Беда стороной не беда. Память расставляет всё на свои места. То, что казалось важным, теряет значение. То, что хотим сберечь, растворяется. То, что хотим забыть, упорно пробивается в жизнь, словно цветок сквозь трещины в асфальте больничного двора.

Ты навещал маму в больнице. Вместе с ней в палате лежала девушка. И ты слышал, как она говорила по телефону:

– Какая разница, жива я или нет, если мы всё равно не вместе?

Когда зашёл к маме на следующий день, койка девушки пустовала. Медсестра буднично взбивала подушки. Понял, что у каждого человека свой мир, реальности не пересекаются, если люди не с нами, их не существует вовсе. Ощутить боль потери можно, только глядя на пустую койку. Любимый не навещал её в больнице, бросил. А она умерла во время операции: остановка сердца. Её никогда не было с ним рядом. Вскоре там появилась другая пациентка.

Через год в той же палате от рака умерла твоя мама. Отец сделал для неё всё, что мог, но этого не хватило. После ужасов больницы: безнадежности пустых коек, бесконечных коридоров, дрожащего и гаснущего света, часов ожидания в неизвестности... – вы вышли

¹⁵ «Спроси у пыли», «Подожди до весны, Бандини». Джон Фанте

на улицу и вдруг увидели цветы на асфальте. Яркие, красивые. Ты не знал, почему запомнилось именно это. Но спустя два года окончил режиссёрскую мастерскую при ВГИК и решил снимать фильм о красоте и романтике.

Ты говорил, говорил, говорил... А я думала о том, что беда замыкает людей в себе. Тебе слишком тяжело жить чёрно-белой жизнью, и потому хочешь превратить её в цветное кино. У тебя нет постоянной девушки, потому что девушки любят парней без проблем и без прошлого. А у тебя оно есть. И потому они уходят к другим, а ты покупаешь гляцевые журналы, чтобы девушки на обложках улыбались только тебе. И ещё о том, что, наверно, я первая, кому ты рассказываешь обо всём откровенно.

Я вдруг поняла, почему люди пишут, снимают, создают. Одиночество. Знаешь, в английском языке есть два состояния этого слова: single (самодостаточность) и alone (изоляция). Рано или поздно надоедает говорить с самим собой и хочется крикнуть: «Обратите на меня внимание, я здесь, рядом, мне есть, что сказать вам! Остановитесь!». В кино такие сцены снимают ночью на автобусной остановке под косым дождём. А машины едут мимо – мимо – мимо... героя. Быстрее – ещё быстрее. И никто из них не останавливается. Люди создают что-либо в надежде быть услышанными или хотя бы придумать себе мир, залитый светом, где их любят и ждут.

– Ты не заметила парочку, которая прощалась у подъезда? Девушка нежно обняла парня, а мне почему-то стало холодно и очень грустно.

Мне захотелось тебя успокоить, и я тебя поцеловала.

Серое мягкое небо. Тишина. Птицы поют. Рассвет. Как же часто теперь мне всё это снится!

Писатели, сценаристы, как падальщики, подбирают всё, что плохо лежит, и тащат в свои произведения. И порой тем, за кем подобрали, становится нестерпимо больно. Но такова суть творчества. Невозможно всю жизнь писать по книгам, газетным колонкам, иллюзиям. Научить людей мечтать способна лишь сама жизнь.

Твоя история меня затягивала. Цветок в пыли. Вот он у меня под ногами, пробивается сквозь асфальт. Осталось только не пройти мимо, не наступить. Сорвать и поставить в воду. Сбереечь.

... Старушка-соседка, которая отдала тебе свою собаку, потому что ей не хватает сил удерживать её на поводке и не на что больше кормить. А теперь она приходит к тебе, треплет собаку за ухом и плачет ...

... Девушка с татуировкой крыла бабочки на левом плече, которой ты одолжил зонтик во время июньской грозы и до первого снега ждал, что она захочет его тебе вернуть, и вы снова встретитесь ...

... Твой преподаватель по режиссуре, чей фильм запретили в советские годы. Киноплёнка пролежала в архиве двадцать лет, от времени покрылась пятнами и восстановлению не подлежит. На вручении дипломов он сказал вам: «Искусство – это прежде всего огромная смелость жить. Либо вы меняете жизнь к лучшему, либо она вас, но уже к худшему. И нужно быть очень смелым, чтобы запереть жизнь внутри киноплёнки. Но если получится, то это и будет НАСТОЯЩЕЕ КИНО»...

Я чувствовала себя художником, трепетно, тщательно, мазок за мазком наносившим на полотно краски заката. Ему нельзя упустить ни одного оттенка, ведь соревнуется он с самой природой. Люди из твоих рассказов стали мне родными и близкими. Я видела их, говорила с ними. Какой я, к чёрту, сценарист и писатель, если не сказала ни слова правды?

Если вместо настоящей драмы напишу романтическую фальшивку, и она выставит тебя на посмешище?

Да, тебе хотелось бы жить иначе, но я решила тебя убедить.

Твоя реакция была предсказуемой:

– Я не буду это снимать. Ты обещала доработать первоначальную версию про острова, а вместо этого написала изнанку моей жизни!

Вертел распечатку сценария в руках, смотрела, как они дрожат, и думала о том, что руки любимых невозможно воспринимать отдельно от воспоминаний о ласках, что они когда-то дарили.

– Я знала, что ты так скажешь. Отправила сценарий Щербакову, он похвалил и прислал контракт. Снимать хочет следующим летом. Подумай! Это же гарантия, что сценарий в десятку. Нас признали!

– Не нас. Тебя. Мисс совершенство! А я думал теперь мы вместе. Ты сказала, чтобы я выбрал того, кто рядом, и я выбрал тебя. Рассказывал тебе всё, чтобы ты поняла: людям не нужна правда, им нужна красота. Шагать по солнечной дороге туда, где небо смыкается с морем. Шагать за мечтой, верить, что счастье есть. А ты записывала мою боль. Слушала меня. Соглашалась. Целовала меня. Нельзя иметь такие нежные губы, и при этом быть такой бесчувственной внутри!

Ты выставил меня за дверь, и несколько дней я не могла до тебя дозвониться.

Лишь с первыми осенними листьями твой автоответчик сообщил мне об островах Лайн и что «нельзя бить чужие сердца, как дешёвую «икеевскую» посуду, а из осколков варить колдовское зелье».

Ты уехал снимать свою версию реальности, а я узнала ещё одно состояние одиночества: abandoned. Покинутые дома разрушаются. Странно, но можно жить годами в доме, не делая ремонт, и он будет как новый, но стоит уехать... Наверно, человеческое тепло поддерживает прочность стен, душу дома. В переулках вокруг твоего уже с месяц не горит ни один фонарь. А я научилась падать.

Одиночество гонит из дома в ночь и делает тишину невыносимой. Одиночество – это ощущение нехватки конкретного человека. Когда не просто один, а без тебя. Не чувство, а физическая боль, словно вырезали живой кусок, и рана не перестаёт кровоточить. Звонящий вакуум внутри, ничем его не заполнить.

Я пишу тебе всё это, потому что мир многогранен, и у каждого из нас – своя грань. Я хочу, чтобы ты знал мою. Ты думаешь, я предала тебя. А мне кажется, что сценарий – лучшее из того, что у нас получилось в жизни. Мы все живём в разных плоскостях мира, а искусство создаётся на грани откровенности, служит мостом между сердцами людей, потому что настоящая драма – внутри нас. И нужно набраться смелости, чтобы построить мост.

Я подписала контракт. Летом будем снимать фильм о твоей жизни, как ты и хотел. Но я всё чаще думаю, стоит ли «добиваться большего, исходя из малого», если разлом между правдой и вымыслом разрушил наш собственный мост, и его половинки никогда не сойдутся вместе. Если играть тебя будет другой. Если мы друг для друга больше не существуем. Если ты не вернёшься.

28 марта – 03 апреля 2010